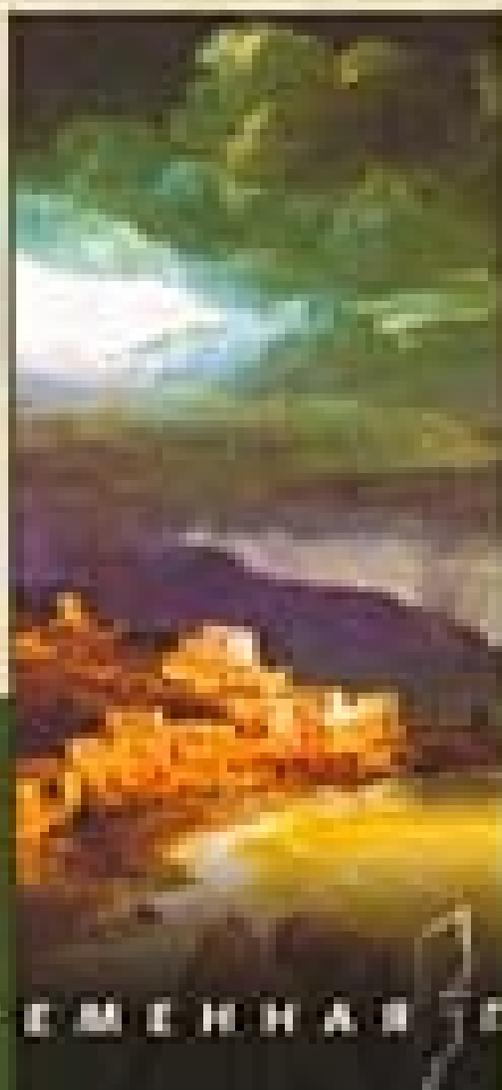

АНАТОЛИЙ
КИМ

ОСТРОВ
ИОНЫ



С О В Р Е М Е Н Н А Я П Р О З А

Annotation

Анатолий Ким — лауреат множества литературных премий, а также премии правительства Москвы (1993). Его произведения изданы в 25 странах, переведены на многие языки. Творчество писателя стало темой для защиты докторских, магистерских и кандидатских диссертаций в России, Японии, США, Германии, Польше, Болгарии, Италии, Корее.

Искренняя и трогательная автобиографическая повесть «Мое прошлое», рассказывающая о становлении художника, наполнена размышлениями автора об истоках творческого начала в человеке.

Тайна человеческого бытия и возможность преодоления небытия, природа бессмертия духа, постижение вечности — вот главные темы яркой, доброй, ироничной прозы Анатолия Кима.

-
- [Анатолий Ким Мое прошлое](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Желтые холмы Казахстана](#)
 - [На Дальний Восток](#)
 - [За счастьем на край света](#)
 - [Болезнь](#)
 - [Алексей](#)
 - [Роскошь](#)
 - [Женьшень](#)
 - [Сахалин-1](#)
 - [Сахалин-2](#)
 - [В Москву!](#)
 - [В Москве-1](#)
 - [В Москве-2](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Начало](#)
 - [Спутники](#)
 - [Пустынник](#)
 - [Тверской бульвар, 25](#)
 - [Путь в никуда](#)
 - [Выход из подполья](#)
 - [Книги-1](#)
 - [Книги-2](#)

- [Союз писателей](#)
- [Деревня](#)
- [Небесная степь](#)
- [Слово](#)
- [Путешествия](#)

Анатолий Ким Мое прошлое

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Ким Анатолий
Мое прошлое

Часть первая

Желтые холмы Казахстана

Мой дед Ким Ги-Ен происходил из рода крупного военного чина, начальника королевской стражи, который в XV веке после дворцового переворота вынужден был бежать и скрылся в глухой провинции на севере Кореи. Там и проросла наша тоненькая фамильная ветвь, которая впоследствии проникла в Россию, где я и увидел свет. Корни же моего старинного рода находятся в провинции Каннинг и уходят на большую историческую глубину, зачисляясь со времен образования государства Силла.

Появлению моего деда в России предшествовала миграция корейцев, начавшаяся в шестидесятых годах прошлого века. Уходили с севера Кореи безземельные крестьяне, переселяясь на малолюдную тогда окраину Российской империи в поисках свободного жизненного пространства.

Дед перебрался в Россию примерно в 1908 году, когда уже тысячи корейских семей поселились на землях российского Дальнего Востока и Приамурья. Российские власти, заинтересованные в быстрой колонизации Дальнего Востока, вначале охотно давали русское гражданство корейским эмигрантам и наделяли их земельными участками. Но впоследствии, когда поток корейских переселенцев значительно увеличился, а из самой России на Дальний Восток было переселено достаточно русских крестьян, благоволение властей к корейским эмигрантам прекратилось.

Мой дед отправился в Россию один, оставив в Корее семью. Он был крестьянином, хотел иметь свою землю. Но на родине земли у него не было, а на чужбине ее не досталось — к тому времени, когда мой дед пришел в Россию, землю новоприбывшим корейцам выделять перестали. Дед нанялся работником к какому-то зажиточному земляку по фамилии К°.

Вышло так, что этот Ко вскоре умер, оставив после себя жену и сына, а мой дед, живший в их доме, постепенно стал за хозяина и вскоре женился на вдове. От второго брака у него родилось трое сыновей, одному из них и суждено было впоследствии стать моим отцом.

Сочетаясь новым браком, дед полагал, видимо, что станет владельцем той земли, которая принадлежала умершему хозяину. Но фамильный клан Ко решил по-своему: усадьба и вся земля были переданы подростку сыну покойного. Деду же достались не очень-то покладистая жена, прежняя бедность да горькое чувство вины.

Так начиналась, с глубинной боли вины, русская жизнь нашей корейской ветви. Мечта деда, его всеильная крестьянская страсть — своя земля — лишь в какую-то неверную минуту причудилась ему. Он умер от тоски и безысходности в 1918 году.

Тогда пришел из Кореи его младший брат, пробравшись через запертую японцами границу. Он отыскал старшего брата и потребовал от него, чтобы тот вернулся в Корею, где много лет ждет, пребывая в большой нужде, его первая семья. Но этого дед не мог сделать: с маленькими детьми совершить опасный путь через границу было невозможно. Бросить троих сыновей и вторую жену он тоже не мог. У деда никакого выхода не было, как только умереть. И он однажды, вернувшись с поля, лег в своем углу, отвернувшись к стене, и больше не встал. Похоронен он был на чужбине, где-то на берегу реки Амур, у села Благословенное. Мой отец, Андрей Ким, был крещен там же в русскую православную веру и наречен христианским именем. Но, несмотря на это, отец никогда не был по вере и по характеру русским человеком. Он всегда оставался корейцем — во всей полноте своей натуры.

До пятнадцати лет, когда отец был направлен учиться на рабфак, он прожил с дядей. Тот после смерти своего старшего брата остался в России, считая своим долгом вырастить и воспитать трех племянников. У самого же дядьки в Корею остались его семья и дети, с которыми он больше никогда не встретился в этой жизни. Когда племянники выросли и разлетелись кто куда, дядька решил пробираться на родину через Маньчжурию. На маньчжурской границе он и сгинул, никто больше о нем ничего не слышал.

В 1937 году, когда настал самый кровавый год сталинских репрессий, корейцев принудительно выселили с Дальнего Востока. Крестьян, служащих, студентов, рыбаков, детей и взрослых, актеров театра, охотников за пантами и искателей горного женьшеня — всех корейцев погрузили в товарные вагоны и под конвоем отправили в западном направлении...

Моя бабушка с материнской стороны, при крещении нареченная Анной, не раз вспоминала впоследствии, грустными глазами уставясь куда-то в пространство и деловито загибая пальцы на руке: «Нам пришлось все бросить: новый дом, двух лошадей и дойную корову, весь урожай риса, соленые кимчи, закопанные в глиняных бочарах в землю... Полный сундук, набитый кусками полотна. И всю посуду: медные тазы, глубокие и мелкие чаши, блюда, много ложек и палочек для еды — и все это из жаркой меди, вычищенной до блеска... Вся посуда осталась целехонькой лежать на

полках».

Итак, корейцев непонятно за что переселили с Дальнего Востока в пески Казахстана, Узбекистана, в другие районы Средней Азии. Их лишили дома, имущества, привычных родных мест — и глубокой осенью тридцать седьмого года ссадили с товарных вагонов в камышовые болота у озера Балхаш, на угрюмые пески Кызылкумов, в малярийные долины Узбекистана.

Это насильственное переселение прямо обвиняло: виноват! Но в чем? Так до сих пор и не выяснено, в чем обвинялось корейское население Дальнего Востока. И около трехсот тысяч человек отправилось отбывать бессрочную ссылку, затаив в себе чувство неясной вины.

Вот так я и родился с комплексом вины в своей крови 15 июня 1939 года в Казахстане, в южной его части, у гор с названием Тюлькубас, в поселке русских переселенцев Сергиевке. Я помню голубой свет небес, мелькнувший за окном. Помню маму, срезающую на огороде большим ножом зеленые перья лука... Дует ветер, темные деревья сильно раскачиваются, стекло на окне, плохо примазанное к раме, стучит: тыр-та! тыр-та! тыр-та!.. Это Сергиевка. Мой отец получил там работу после окончания педагогического института. Мне, значит, два года от роду.

Будет преувеличением говорить, что человек способен в самом раннем возрасте постичь тягость и печаль существования. Нет, ничего подобного я тогда еще не мог осознавать, а тягостное ощущение жизни рождалось потому, что началу моей жизни — с двух лет и до шести — сопутствовало военное лихолетье. И чувство голода, может быть, являлось тогда моим главным ощущением бытия...

В том случае, если ты просыпаешься и, еще лежа в постели, хочешь есть, а потом весь день также хочешь есть, а еды почему-то не дают, — разве не похоже это на некую фатальную виноватость? Ты вроде бы виноват уже только тем, что появился на этом свете и хочешь есть.

К этому времени наша семья переселилась в другой край просторного Казахстана, к горам Талды-Курган. Перед моими глазами засветились под неистовым солнцем блекло-желтые холмы с округлыми вершинами, совершенно безлесыми, лысыми.

Вот на эти холмы я как бы и сошел с облаков и зашагал по брэнной земле — и до сих пор иду, не представляя себе ясно, куда должен прийти под конец. Итак, степь и желтые холмы Казахстана стали первой картиной моей души. Будучи в этом мире художником, я мыслю цветом, линией и художественными образами. Мир нашей души — это музей Божественного искусства. Каждый из нас носит в себе целую картинную галерею. Большие

и важные части своей жизни я представляю в виде законченных картин.

Почему холмы Казахстана видятся мне блекло-желтыми, как цвет старого меда? Ведь ранней весной эти круглые горы вдруг наливаются ярким сиянием зелени — нет ничего на свете зеленее. Огромные алые облака диких тюльпанов вдруг в одночасье словно опускаются с небес на землю. И тогда безлесые склоны холмов становятся нарядными, как расписные шелка.

Над пыльно-желтой степью парят в размытом небе неторопливые орлы. И то огромное пространство, которое вмещает в себя и круговые полеты орлов, и предгорную равнину, и желтые холмы Казахстана, навсегда вошло в мою душу. Каждый народ живет там, где Бог определил ему жить. Но отдельные человеко-частички отрываются, словно искры от пламени костра, и могут улететь очень далеко... Я родился в Казахстане, стране бескрайних степей, выгоревших под солнцем, и неспешных орлиных спиралей над горами. Душу человека формируют ландшафты той страны, которую впервые увидел он в самом раннем детстве.

В дальнейшем она не может измениться. Душа может только расшириться и дополниться другими картинками мира. Я навсегда останусь огнепоклонником солнца, яростно пылающего над раскаленной бескрайней степью. Мне всегда будет душно и тесно в каменных ущельях городов, какими бы просторными и громадными они ни были. И жаркий пот на лице окажется для меня милее, чем прохладная сухость кожи в искусственном воздухе комнат, оборудованных кондиционерами.

И еще одно: никогда не перестанет шуметь и мельтешить в моей душе многоязыкий пестрый базар народов. Я стану человеком множественного, полиментального склада характера. Мой естественный космополитизм во всех случаях идет от моих самых ранних впечатлений...

Казахстан времен моего детства был местом ссылки, беженства и военной эвакуации многих народностей империи. Огромные просторы Казахии советская имперская власть предопределила как тюрьму для разных народов. В этой тюрьме находились ссыльные нации: немцы, чеченцы, крымские татары, корейцы и другие. По воле Сталина эти народы были сорваны со своих родных мест и брошены на малообжитые, бедные земли, словно за тюремные стены, откуда нет свободного выхода.

Корейцы стали первыми, кого заключили в казахский «лагерь народов». И я родился уже несвободным — мои родители считались ссыльными, и в паспортах у них проставили особые пометки. За пределы Казахстана выезжать им запрещалось. Это положение сохранялось больше десяти лет.

Во время войны с Германией Казахстан оказался убежищем для бесчисленных беженцев, уходивших от нашествия немцев, и местом ссылки двух миллионов «русских немцев» с Поволжья, где они жили на протяжении нескольких веков. Когда мне исполнилось лет пять-шесть, моими друзьями были Роман и Эльза, рыжеволосые немецкие дети. Их мать Клара, милостивая полная женщина, работала уборщицей в школе, где устроился мой отец после переезда из Сергиевки.

Чеченцы представлялись страшноватыми людьми. Особенно страшными в них казались их огромные бараньи шапки с длинным мехом, свисавшим прядями на глаза, крючковатые носы и всегда почему-то рваная одежда, туго перехваченная на поясе узким ремнем.

У корейцев с чеченцами сложились довольно напряженные отношения. Я помню, была корейская свадьба — и вдруг народ зашумел и повалил на улицу. А там уже кипело настоящее сражение между чеченцами и корейцами. Причем дрались не только мужчины: чеченцы при подобных схватках вступали в бой всем скопом, от мала и до велика, молодые женщины и старухи, детвора и подростки.

Вооружались они чем только могли: дубинами, железными кочережками, мотыгами. Бабы чеченские поднимали пронзительный вой и были не менее страшны, чем их мужья в лохматых шапках.

В другой раз, я помню, в полях толпа корейцев гналась за одиноким чеченцем. Он был в большой бараньей шапке, хотя стояла жара. Оказалось, что этот человек вор: он угнал у корейского хозяина корову и зарезал ее... Его догнали посреди поля — и на моих глазах толпа стала побивать его кольями... Время было жестокое и беспощадное — настал послевоенный голод.

Чеченцев привезли с Кавказа где-то к осени, и они дружно принялись строить дома из глиняных кирпичей-саманов. Но к зиме дома у них не были готовы: стояли без окон, без дверей. У переселенцев начался, видимо, голод. Чеченские женщины с протянутой рукой сидели на снегу вдоль дороги, низко надвинув на лицо платки.

Но через год-два чеченцы прижились на новом месте, как и корейцы, и немцы, и другие ссыльные народности. Они стали нашими соседями в городке Уш-Тобе, где мы оказались после нового переселения, и у меня были даже друзья среди них: Ибрагим, Шамиль... На городском рынке появились наспех сколоченные чеченские лавочки и ларьки. Их хозяева в лохматых шапках уже не были одеты в рвань, на поясах у некоторых появились богато украшенные кинжалы в ножнах. Казахстан моего детства, солнечный и жаркий, с шумными многоязыкими базарами, взрастил в моей

душе то человеческое начало, которое развивалось потом в течение всей жизни и стало причиной и оправданием моей судьбы. Я очень рано начал осознавать, что корейцы, к которым принадлежу и я, не являлись хозяевами жизни там, где мы жили. Мое детское сердце постоянно тревожилось за родителей, в особенности за отца, у которого бывал неуверенный и виноватый вид, когда у него случались какие-то неурядицы или осложнения по службе.

Я побаивался чеченцев, дружил с бедными немецкими детьми и завидовал своему единственному другу-казаху, малышу Масабаю, у которого была своя верховая лошадь. У меня ее не было и никогда не могло быть.

В этом моем детском чувстве невозможности сказывалась горечь моего деда-крестьянина, у которого так и не было своей земли. Пожалуй, и моя душа предчувствовала, совсем недавно появившись на свете, что у меня «своей земли» тоже никогда не будет. Надо было устремиться к чему-то, что должно быть свободным от эмигрантского комплекса национальной ущемленности. Надо было освободиться и от чувства вины, с которым ушел из жизни мой дед Ким Ги-Ен, и обратиться к такой жизни, которая дала бы мне чувство уверенности и правоты.

Как-то отец привез мне из города новые тапочки из мягкой, желтой чудно пахнущей кожи. Это было время послевоенной разрухи, когда дети все лето и до холодов бегали босиком и не знали никакой обуви. В первый же день, когда я пошел гулять в обновке, случилась беда. Мне захотелось пить, и я, подойдя к реке, снял с ног тапочки, аккуратно поставил их на берегу, а сам вошел в воду, где было поглубже, почище, и стал пить. Затем вышел из реки и, забыв о тапочках, ушел восвояси. Спихватился я лишь к вечеру и с плачем побежал к реке.

На том месте теперь расположилось на водопой стадо коров и стоял пастух, покуривая табачок. На мой вопрос, не видел ли он здесь тапочки, пастух ответил не сразу. Он вначале задумался, потом сказал, что здесь днем был Бобыль-Горшечник, который набирал в бочку воды, и Горшечник, должно быть, эти тапочки и подобрал.

Уже в сумерки я подошел к жилищу Бобыля-Горшечника — оно было на самом дальнем краю деревни, у изрытого глиняного оврага. Я очень боялся, потому что этого человека считали не совсем нормальным: он жил один, без семьи, ни с кем не общался и был всегда угрюмым и злым на вид.

Но при встрече он оказался вовсе не таким. На мой громкий плач он вышел из своей хибарки, участливо расспросил меня, в чем дело, и живо вернул мне утерянное, сбегав за тапочками в дом. Он проводил меня и на

прощание погладил по голове.

Это был пожилой кореец с седой головою, с глубокими морщинами на лице. Я полагаю, что с этой встречи во мне и возникло доверие к человеческой доброте.

На Дальний Восток

Прошлое не существует — пустота прошедшего времени поглощает все предметы, события, смех и рыдания. Остаются только неясные отражения в памяти да те земные пространства, на которых когда-то все это совершалось: смеялось, рыдало, возникало и исчезало.

Итак, прошлого нет, но его можно добывать из памяти и строить из этого призрачного материала некое сооружение. Чем я и занимаюсь сейчас: что из этого получится? Может быть, вскрикнет оно, это еще неведомое произведение, и запоет птичьим голосом, а потом взмахнет крыльями и, поднявшись в воздух, вдруг бесследно растает в воздухе? Не знаю, не знаю.

Но я думаю, что всякий человек интересен. Для людей всегда интересны другие люди: какая бы жизнь ни предстала перед слушателями, почему-то им любопытно послушать рассказ о чьей-то неведомой судьбе. Вот и мне захотелось посмотреть на свое прошлое как бы со стороны...

После того как распахнулись степные орлиные просторы в моей детской душе и она пропиталась насквозь раскаленной жарой казахской пустыни, наша семья вдруг переехала на другой край света — на самый восток страны. Мы попали на Камчатку, затем в Уссурийский край, где в тайге до сих пор еще живут тигры. А оттуда уже переехали на остров Сахалин...

Кончилось время ссылки для советских корейцев, они с 1948 года могли ехать куда угодно, и мои родители в числе многих других сразу же решили вернуться на Дальний Восток.

Добираться от Казахстана до Владивостока пришлось целый месяц в товарных вагонах. Из них составилась длинный эшелон. Все было почти так же, как и в 37-м году, только на этот раз не было сопровождающего конвоя и корейцы ехали не в какую-то неизвестность под принуждением властей предержащих, а добровольно возвращались в родные края.

Дальний Восток стал для меня местом, с которого открылась моей душе беспредельность мира. Просторы Тихого океана, по которому мы плыли на пароходе много дней, добираясь до Камчатки, оказались первыми голубыми страницами книги бытия, рассказывающей о бесконечности. Эти страницы были перелистаны по-детски бездумно, но в глубинах памяти навсегда остался шелест перелистываемых страниц — ночной шум волн.

Когда корабль, на котором ты плывешь, на много суток оказывается в открытом море и вокруг только вода темно-синего цвета словно единая

плита гладкого камня-лазурита, ты оказываешься как бы стоящим в одиночестве на пороге космического пространства. Мы должны знать, где мы живем. Мы живем в беспредельных просторах космоса.

Но для того чтобы жить без страха и отчаяния, тебе нужно что-то совсем небольшое, теплое и любимое. Из Казахстана мы довели до Камчатки полмешка самых ранних яблок. Это были еще зеленые, мелкие яблоки, но они так чудесно пахли и были такими вкусными!

И когда мы приплыли на место и наш огромный пароход стал на рейде в виду камчатских берегов, нас охватил ужас. Был июль, а на вершинах и склонах гор, синеющих вдали, еще лежал снег! Небо было темного, непроницаемо-каменного цвета...

Некоторые женщины из нашей переселенческой группы в голос заплакали. Моя мать тоже запричитала, глядя на суровый, диковатый камчатский берег. А я, стоя рядом с мешочком яблок, вдыхал их нежный аромат и впервые испытал печальное чувство утраты.

Когда ты уходишь из родного дома в широкий мир, то утрачиваешь первое ради того, чтобы обрести второе. Мне было девять лет, когда я неосознанно — одним лишь детским наитием — ощутил неизбежность печали тех, кто не хочет оставаться в отчем доме, как бы там ни было хорошо и уютно. О Казахстан, я навсегда покинул тебя!..

Я взволнованно, с любопытством вглядывался в незнакомый ландшафт, и мне скорее хотелось попасть туда, побродить по этим синим горам и потрогать рукою белые языки прошлогоднего снега. С Камчатки началось мое неодолимое желание бродить по миру, созерцать его новые и новые ландшафты, восхищаться разнообразием творений Бога-художника.

На Камчатке и впоследствии на Сахалине мой отец работал в школах, где учились дети корейцев, которые приехали туда непосредственно из Кореи. На камчатские рыбные промыслы были вывезены сезонные рабочие из Северной Кореи — сразу же после освобождения от японской оккупации. А на Сахалине оставались корейцы, вывезенные еще раньше из Южной Кореи для работ в угольных шахтах и на лесоразработках.

Встречаясь с «натуральными» корейцами, я, сын эмигранта во втором поколении, не находил большой внутренней близости с ними. К тому же с самого начала мне пришлось учиться в русских школах и я почти не знал корейского языка. Но главным разделяющим барьером было то, что моя жизнь с самого рождения проходила совсем в иных условиях, чем жизнь моих маленьких корейских приятелей.

На Камчатку привезли корейцев из страны, в которой долгое время хозяйничали завоеватели, пытавшиеся подавить всякое национальное

достоинство местных жителей и даже задавшиеся целью полностью их ояпонить. Детей в школах, как известно, заставляли обучаться на японском языке, муштровали по-военному и ежедневно обязывали кланяться в ту сторону, где предполагалось находиться микадо, великому императору. А у нас хотя и имелся свой собственный микадо, товарищ Сталин, мы никаких поклонов не били, хотя верноподданнические чувства и обожествление государя бытовали в не меньшей мере.

Корейцы в своей стране на протяжении почти полувека считались существами низшего порядка. Но при переезде на Камчатку, после освобождения от японцев, корейские сезонники вновь оказались людьми «второго сорта». Живущие среди разношерстного люда, завербованного во всех краях широчайшей России для работ на камчатских рыбных промыслах, корейцы вдвое меньше получали за одну и ту же работу, чем русские, потому что последним начислялись к заработку 100 процентов за работу в северных условиях, а эмигрантам этого не платили. Все это, вместе взятое — и старые привычки запуганных японцами, вымуштрованных несвободных полуграждан, и новые тяжелые условия жизни на провонявшей рыбой камчатской сезонке, и гнетущий отпечаток застарелой бедности, — отнюдь не делало привлекательным облик корейских рабочих. Неуверенными, жалкими выглядели они на грязных улицах поселка среди примитивных бараков концлагерного типа, где жили тогда сезонники камчатских промыслов.

Мой отец был направлен туда директором школы для корейских детей. Но, когда мы прибыли на место, оказалось, что никакой школы там нет: не было для нее помещения. Местная администрация отказалась выделить дом для корейской школы, потому что не хватало жилья и для прибывших с материка рабочих, многие из которых жили семьями в больших брезентовых палатках, отапливаемых железными печками, — в таких палатках они должны были и перезимовать, кое-как утеплив их высокими завалинками из земляного дерна.

Условия жизни сезонников мало чем отличались от каторжных, и в подобных обстоятельствах да при громадной отдаленности от центра местная администрация осуществляла власть по своему произволу и даже слышать не хотела о какой-то школе для детей корейских эмигрантов. И тогда мой отец, доведенный до отчаяния, без ведома начальства послал телеграмму в Москву, в Кремль, на имя самого генералиссимуса Сталина. В телеграмме этой отец подробно изложил суть дела, и получилась она очень длинной — на нее ушло, как рассказывал он, весьма много денег.

Ответ пришел неожиданно скорый: на следующее утро. И он был

совсем коротким в отличие от телеграммы отца. «ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ ВОВРЕМЯ — СТАЛИН». Так значилось в ответе. Это был известный лаконичный стиль генералиссимуса. Телеграмму принесли в барак, где мы жили, часов в шесть утра. Прибежала и вся верхушка местной администрации: начальник рыболовецкого комбината, председатель поселкового Совета, парторг. Перепуганные до смерти, они подобострастно приветствовали отца и сообщили ему, что комбинат выделяет для корейской школы два бревенчатых многоквартирных дома — на его выбор. Это были дома из тех, в которых жили «лучшие люди» поселка, то есть та же администрация и все высокое начальство. Отец выбрал два дома, и в тот же день прежние жильцы были выселены куда-то, а наша семья переехала на новую квартиру — отец получил ее как директор школы. И занятия в ней действительно начались «вовремя», как приказал Сталин.

История эта требует некоторого разъяснения. Сталин в то время был для нашего народа не просто божеством, но божеством грозным и карающим. С его правлением так или иначе было связано истребление почти четверти всесоюзного населения. Он был скорее богом мертвых, чем живых. И к такому богу обычный маленький человек не смел обратиться напрямую. Но вот отец мой дерзнул — и даже получил самый благоприятный ответ. Что случилось, почему тиран, принесший несчастья и беды стольким народам и племенам, вдруг обратил внимание на столь ничтожный факт, как жалоба отца, и немедленно соизволил проявить свое личное благосклонное вмешательство? Историческая загадка, как говорится... Может быть, он вспомнил, как в 37-м году самыми первыми жертвами «переселения народов» стали именно корейцы?..

Что бы там ни было, но корейская школа была открыта, и мои родители стали ее первыми учителями. С того времени я мог соприкоснуться более тесно с жизнью людей, с которыми у меня были общие древние корни. Но, не имея еще никаких представлений о подобных вещах, я детским сердцем переживал довольно сложные чувства от своих новых встреч. Были они разными — иногда странными и непонятными, приятными и жутковатыми, пробуждающими жалость или вызывающими в душе протест и ожесточение. Но меня все это глубоко волновало — я понимал, что соприкасаюсь с тайной и началом своего подлинного естества.

Моя отдельная человеческая судьба не могла выстроиться вне этой древней духовной природы. Национальное начало — невидимый ствол духовного дерева — поднимлет в мире каждую душу, где бы она ни

оказалась по воле прихотливой судьбы. И, тогда еще наивный ребенок, я не мог никоим образом понять или оценить все то, до боли родное и близкое, что вдруг обнаруживалось в каких-то нюансах и частностях существования моих черноволосых соплеменников. Как-то первой камчатской весной, наступившей после многоснежной зимы, я увидел во дворе перед одним из рабочих бараков драку двух корейцев. Двор был покрыт подтаявшим льдом, поверх которого размазалась черная грязь, по такому месту и ходить было трудно — не то что драться. Но, постоянно оскальзываясь и размахивая руками для сохранения равновесия, два молодых корейца дрались страшно, жестоко. Один из них, более рослый и мускулистый, был голым по пояс, и его широкое тело было покрыто грязью и алыми потеками крови — видимо, уже падал на землю и поранился о ледяные острые края. Второй был невысокий, сухощавый, в черной рубаше с закатанными рукавами. Первый издавал какие-то яростные звуки и наваливался на противника с бешеным напором. Второй действовал молча и более защищался, чем нападал. Но именно он ловко обхватил первого и с размаху бросил его на ледяную землю. Усевшись на него верхом, сухощавый нанес два страшных удара кулаками по лицу противника. Тот сразу обмяк и, потеряв сознание, замер на липком от грязи льду, широко раскинув руки. Победитель с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к бараку...

На другое утро, направляясь в школу, я увидел, как сухощавый кореец несет на спине своего побежденного в драке противника. Тот был одет, держался за плечи своего победителя и с закрытыми глазами тихо, жалобно стонал. А сухощавый, все в той же черной рубаше, тащил на спине израненного товарища, низко пригибаясь к земле. Он исподлобья смотрел перед собою на грязную, скользкую дорогу, и на лице его было отчаянное выражение. Я увидел, что он беззвучно плачет на ходу. Это был молодой мужик лет тридцати...

Куда этот кореец нес своего искалеченного земляка? В больницу? К его родному дому, где заботливые родственники спасут, вылечат его? Или к светлому будущему человечества, где и корейцы, и все другие народы мира будут жить без гнева и ярости, без братоубийства и глубокого, отчаянного чувства вины за содеянное зло?

За счастьем на край света

Я часто удивлялся тому, как легко и безбоязненно мои родители решались на переезды в самые отдаленные края, куда надо было добираться со всем громоздким домашним скарбом, с малыми детьми. И это еще в те далекие времена, когда на железных дорогах составы тянули паровозы, отфыркиваясь на бегу тугим паром, а на морях пароходы пускали из труб черные хвосты дыма через все небо.

Камчатка была самым дальним краем земли, который только мыслимо было представить. И туда из Казахстана мы отправились с какими-то огромными узлами, увязанными в старые одеяла, с разобранной металлической кроватью, на спинках которой красовались сверкающие никелированные шишки, а на ножках имелись маленькие колесики. И самым главным грузом (в том и во всех последующих переездах) нашего домашнего каравана была ножная швейная машинка «Зингер», в ободранном фанерном футляре, с чугунной станиной страшенной тяжести. (Эта родная, домашняя «Зингер» на моей памяти переезжала из Казахстана на Камчатку, с Камчатки в Уссурийский край, оттуда на Сахалин, с Сахалина во Владивосток, оттуда в Москву и, кажется, под конец в город Боровск Калужской губернии, где моя матушка, хозяйка машинки, обрела вечный покой на краю большого русского кладбища...)

Тогда, сразу после войны, многих людей в России охватила страсть к перемене мест. Особенно густым был поток переселенцев из центральных областей страны на ее дальневосточные окраины, в районы Крайнего Севера, на Чукотку, Камчатку и Сахалин. В этих краях образовалась особая категория населения, которая называлась «вербованными». Как правило, это были одиночки или семейные, которых на прежних местах особо ничего не удерживало. Сталинское госрабство и военное разорение, колхозное крепостничество и насильственные национальные переселения сделали народ поистине бедным и нищим. А такой народ-бедняк всегда легок на подъем. Бедному ведь всегда хочется уехать куда-нибудь подальше от своей бедности. А куда же дальше Сахалина, Чукотки или Камчатки?

В стране за железным занавесом никому нельзя было даже и помечтать о богатой Америке или, скажем, о сказочной Австралии. Европейцы после войны так и ринулись за океаны, а мои соотечественники — в места не столь уж отдаленные. Советские лагеря для заключенных удивительно точно копировали советское государство. Тот же «хозяин», всевластный

«гражданин начальник» лагеря, надзиратели и конвойные солдаты для обеспечения установленного порядка. Те же покорные и запуганные граждане-заключенные, работающие кое-как, из-под палки, и получающие за свой труд миску казенной баланды.

Эти лагеря, в особенности с политическими заключенными, в большом количестве были расположены на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири и на Сахалине. И как ни странно, но именно туда устремлялись наиболее вольнолюбивые люди СССР. Те из них, которые не удовлетворялись скудно отмеренной государственной «пайкой», а надеялись что-то и сами раздобыть себе в щедрых на природные богатства отдаленных краях.

Русский Клондайк громадной советской империи — Дальний Восток — манил многих. Там в конце концов оказывались люди, которые смутно чувствовали, что на окраине империи можно будет удачливее обернуть свой единственный капитал — жизнь — и повыгоднее распорядиться дозволенной частной собственностью — своими рабочими руками. Государственный надзор слабел там, где зимой крепчали морозы и бушевали тайфуны и люди могли заработать больше денег, чем это полагалось на других территориях империи.

Зарабатывая достаточно, в этих отдаленных краях особенно не на что было потратить деньги, поэтому люди невольно их копили. Банковская система в те годы для большинства безденежного народа в стране была непривычной, и для дальневосточных вербованных обыкновением было держать деньги дома, «в чулке». За несколько лет их собиралось немало, и человек, находясь в своем убогом жилье барачного типа, одетый кое-как, все же чувствовал себя неким богачом.

Что значили деньги для наших советских людей? Ведь их много не могли иметь, а кто имел, тот вызывал большие подозрения. Честным трудом невозможно было нажить много денег, а кто ухитрялся как-то сколотить капитал, тот должен был скрывать его. Миллионер автоматически становился «подпольным», вынужденным хорониться от гневного суда общественности, если даже он был и не преступником, а знаменитым писателем или артистом. Люди должны были существовать не богато и не бедно, а вполне «по-советски», то есть так, как определит государство.

И только в условиях Севера или Дальнего Востока обычные граждане могли иметь сравнительно много денег без каких-либо опасений. Несмотря на то что в быту жили они намного хуже, чем население «Большой земли», дальневосточники и северяне — моряки, рыболовы, шахтеры, летчики,

лесорубы, сезонники — чувствовали себя несколько иначе. Они были избавлены от всесоюзной озабоченности рядового советского человека, что денег может не хватить до следующей зарплаты. Дальневосточник переставал мучиться над проблемой — у кого бы занять несколько рублей до аванса. Он мог спокойно сам дать займы. Я вспоминаю обо всем этом потому лишь, что пытаюсь определить некий общий характер дальневосточных людей, среди которых прошли мои детство и отрочество. Они были внутренне свободнее, щедрее и к другим людям гораздо внимательнее, дружелюбнее, чем жители столиц. Многие годы, живя потом в Москве, я тосковал по Дальнему Востоку и по его людям. Мне казались тесными большие квартиры столичных жителей и душными, мелочно-расчетливыми их отношения.

Знал я также других дальневосточников, которые уезжали на материк, жили в хороших краях, прекрасно устраивались — и не могли привыкнуть на новом месте. Ностальгия по Дальнему Востоку не покидала их. Это были русские, белорусы, грузины, армяне, корейцы — разных национальностей, характеров и возрастов люди, но с какой-то трудно уловимой, однако явной общностью душевного устройства. Словно люди, принадлежащие к одной религии. Многие из них после нескольких лет жизни на материке бросали все и возвращались назад — к беспредельности океанских просторов, к великим снегам зимы, к внезапным дождям и туманам, заволакивающим прибрежные скалы, сопки, поселки.

Была денежная реформа в конце сороковых годов. Помнится, на Камчатке зима стояла тогда особенно многоснежная. Сугробов навалило выше домов, и мы, детвора, катались на лыжах с крыши, проезжая мимо дымящих печных труб. В такой день приехал в наш поселок на собачьей упряжке человек из дальнего рыбацкого селения. Из-за сильной пурги он не смог пробиться вовремя и не успел к сроку обмена денег. А привез он два мешка, туго набитых самыми разными купюрами. В банке ему объявили, что еще вчера срок реформы прошел, и денег на обмен не приняли. Тогда этот человек, рыбак и охотник, открыл дверцу топившейся там печки и пачку за пачкой побросал в огонь все деньги. Трудился целый час. В мешке было несколько сотен тысяч — сумма неслыханная по тем временам. Затем вышел из банка, ни с кем не обмолвившись ни словом, сел в нарты. Но тут вспомнил, что оставил у печки мешки, вернулся за ними, забрал их и лишь после этого погнал собак обратно домой.

Такова была или легенда. Но это не важно... Здесь сам характер человека и его действия интересны. Несомненно, это был истинный дальневосточник. Мне кажется, что я видел и помню его: курчавый с

сединою, высокий, большеносый, в меховых унтах... А возможно, я пытаюсь оживить легенду иллюстрацией своего воображения...

На Востоке империи Советов ее граждане осуществились «по-советски» в наиболее характерных качествах этого историко-этнического понятия: советский человек. Несмотря на то что теперь СССР самоуничтожился и твердыни Советов рухнули под тяжестью своих грехов, ради истины надо сказать, что советский человек был и продолжает быть, несмотря на гибель породившей его политической и социально-экономической системы. И я хочу рассказать, каким он был на Дальнем Востоке, в дни моего детства.

...Итак, он сжег два мешка денег и на облегченных нартах поехал домой, зычно покрикивая на ездовых собак и потрясая остолом, толстой палкой с железным острием на одном конце и с ременным бичом на другом. На полдороге к дому человек остановил свою многохвостую лохматую упряжку, поставил нарты на прикол, глубоко воткнув остол в снег меж перекладин саней. Потом достал из чехла двустволку и, усевшись в сугроб, застрелился.

Вот и опять — легенда или быль?

Мне вспоминается и другая история, но уже не камчатская, а сахалинская. Некий городской чудак, нищенствующий бобыль, кореец по имени До Хок-Ро, много лет собирал русские деньги, хотя совершенно не разбирался в них и даже не умел их считать. Произошла денежная реформа, а старик До Хок-Ро и не заметил ее. Не заметил он и того, что деньги стали совсем другими, и продолжал копить их. За много лет он собрал не мешок, но небольшой мешочек денег, из которых половина была дореформенными, непригодными к употреблению купюрами. И вот однажды этот мешочек с деньгами у него украли.

Нет, он не покончил с собою, этот городской шут гороховый и сахалинский бродяга. Он продолжал влачить свое жалкое существование, несмотря на крушение всех своих надежд, лелеемых в течение многих лет, как и у его камчатского брата по несчастью. Старик До Хок-Ро — тоже мой брат по Сахалину, и я написал о нем в своей ранней повести «Собиратели трав». Так вот, советский человек — бедный человек, который захотел жить богато, но ему это не удалось. Тяжко трудясь и подчас живя нищенски, он копит деньги, как билетки надежды, но однажды их у него отнимает государство или уносит вор. Бедняк-мечтатель, возжелавший из своей нищеты сделать богатство, — вот что такое советский человек. И всякий, кто подобным образом живет на этой грешной земле, похож на советского человека. И мой дед Ким Ги-Ен был такой же, и мой отец, и я сам тоже.

Очевидно, устройство счастья посредством накопления материального богатства не является верным способом. Об этом догадывались, наверное, некоторые из моих братьев по Сахалину, братьев по Камчатке. Вот хотя бы этот камчатский брат.

Он рисовал на тканях пятнистых оленей с большими ветвистыми рогами, горы с водопадами и прихотливо изогнутые деревья на каменных уступах. Одно из его произведений приобрела моя матушка и повесила в комнате на стенку. Меня картина почему-то глубоко заинтересовала и даже взволновала. Я узнал от матери, где живет автор, и вскоре навестил его.

Это был один из тех камчатских корейцев, сезонников из Северной Кореи, чьих детей учил мой отец. Когда я пришел, художник на вертикально натянутом полотне рисовал водяными красками тигра. На моих глазах из небытия возник живой полосатый тигр, исполненный грозной силы, — и я вдруг мгновенно постиг, что вижу момент сотворения жизни... Это и было искусством.

И мне стало ясно, что я должен делать всегда, во все свои дни на земле.

Болезнь

Я перешел уже через вершину своей жизни и, глядя вдаль, ясно вижу ее закат, а оглядываясь назад, вспоминаю свою неизменную любовь к ней. Что бы со мною ни происходило — а происходило многое и разное, порой и самое печальное, — мне всегда нравилось жить, и я не испытывал еще отвращения к жизни, никогда не проклинал ее. Но, сознавая это умом в свои зрелые годы, в молодости я любил жизнь всем сердцем, бездумно, страстно. И особенно сильным было это сердечное чувство, мне кажется, в пору детства, а именно лет в десять-двенадцать.

Почему именно тогда? Наверное, потому что как раз в те годы я сильно болел и мне недоступны были многие радости вольного детства: купание в холодной речке летом, катание на лыжах и коньках зимой... И оттого, что всего этого мне было нельзя, ах, как я все это любил!

А заболел я бронхиальной астмой в очень тяжелой форме, и это случилось на Камчатке, где было столько зимних игр и забав, и летних походов на сопки за ягодами, и чудесных встреч с океаном в тихую погоду при задумчивом рокоте кипящих бурунов и в шторм, когда ветер разносил по берегу рыхлые куски пены, срывая их с набегающих волн.

Могучий и суровый, исполненный первобытной силы дикой жизни, камчатский край был далек от суеты человеческой цивилизации. Синеватые каменные горы его, покрытые на вершинах белыми шапками вечных снегов, были доступны лишь отдаленному, робкому взгляду человека, который оказывался слишком мал и ничтожен перед гигантами, рожденными на свет миллионы лет назад, когда еще и духа человеческого не было на Земле. Едва ли успели заметить эти великаны появление крохотных существ, которые стали считать себя хозяевами земных просторов, океанов, небес и, чего там скромничать, венцом творения. Не обращая внимания на возню людских букашечных сообществ, бубнили громовыми раскатами вулканы, просыпаясь время от времени и ворочаясь на своих материковых плитах... В горных долинах изливали седые потоки горячей воды и белого пара камчатские гейзеры.

Когда начиналась камчатская рыбная путина, лосось из моря в реки пер таким плотным, могучим валом, что в горловине реки воды было меньше, чем рыбьих тел. И в устье нельзя было переплыть на лодках с одного берега на другой — живой рыбный поток подхватывал лодку вместе с веслами и уносил прочь, крутя посудину, словно щепку. На спокойной

воде, в широком речном плесе, спинными плавниками грандиозных лососевых косяков чернела вся поверхность реки — словно на гладкой воде выростали какие-то темные остролистые растения, которые чудом могли еще и передвигаться!

Этакая сила, перевозданная жизненная стихия, титанический выброс на поверхность энергии земных недр, грохот волн и вулканов, подземные толчки планетного пульса и раскачка каменных глыб мускулистыми плечами океанских бурь!

И перед всем этим я, большеголовый и тщедушный мальчик с больной грудью, в которой хрипела и kloкотала мокрота, словно в жалком гейзере задыхающейся, испуганной жизни. Я заболел весной, в пору таяния снегов, промокнув в ледяной воде, куда провалился однажды, играя вместе с друзьями на берегу новоявленной речки, которая образовалась от слияния потоков талой воды. Моя болезнь очень быстро подвела меня к той черте жизни, за которой открывается человеку что-то совершенно беспощадное, люто холодное, как темная вода с серыми хлопьями полужидкого мокрого снега.

Жестоко проболев все лето, я сильно ослабел и буквально таял на глазах, и тогда мои родители, испугавшись за мою жизнь, приняли решение отправить меня вместе с моей старшей сестрой на материк, в город Хабаровск. Оттуда как раз приехал знакомый человек, некий лектор по распространению политических знаний Пак, и он взялся отвезти нас на Большую землю.

Это была отчаянная попытка родителей вырвать меня из-под власти тех грозных сил, которые уже подхватили маленький комочек моей жизни холодным потоком и готовы были навсегда унести в лоно перевозданной камчатской стихии. Лектор по распространению политических знаний пообещал определить меня в Хабаровске на лечение в поликлинику краевого комитета партии. Это была хорошая возможность — все лучшее в нашей стране тогда принадлежало партийным органам.

И вот мы, сестра шестнадцати лет и я, двенадцатилетний, совершили вместе с лектором Паком многодневный тяжелый переезд по штормовому морю на пароходе от Камчатки до Владивостока, а оттуда на поезде до Хабаровска.

Впервые мы, двое детей, оказались без родительской защиты в огромном мире незнакомых, чужих людей. В командировке лектор Пак был молчаливый, преисполненный важности и чувства собственного достоинства партийный работник. А дома у себя, как выяснилось, он боялся своей жены Василисы, тушевался перед нею и обычно прятался в

крошечной спальне, не выходя в единственную большую комнату, где крутилась вся его семья — сварливая супруга и дети со странными именами: Зея, Буря, Вемисор, Вилорик и Люция. Таких имен в русских святцах никогда не бывало, но это были все же русские имена, данные детям их отцом под влиянием вдохновения времени. Советский патриотизм и партийная романтика были в основе этого вдохновения. Так, имена Буря и Зея, данные двум очаровательным девочкам, означали названия крупных рек на Дальнем Востоке, в бассейнах которых во времена революции и гражданской войны происходило много славных партизанских дел. Имя старшего из сыновей — Вилорик — сложилось из начальных букв слов, составивших следующую крылатую сентенцию: Владимир Ильич Ленин Освободил Рабочих И Крестьян. А имя младшего сына Вемисор означало аббревиатуру: Великая Мировая Социалистическая Революция.

Слегка не повезло с именем самой старшей девочке, красивой и стройной Люции. Дело в том, что молодой отец, ожидая первого ребенка, предполагал, что у него будет сын и он назовет его — РЕВО. А затем, мечтал партийный отец, у него непременно родится дочь, и он назовет ее — ЛЮЦИЯ. Вот и получилось бы у него: РЕВОЛЮЦИЯ. Но не вышло по его желанию: первой родилась девочка. И все же товарищ Пак на всякий случай назвал ее Люцией, надеясь, что следующего ребенка Василиса родит в мужском варианте и можно будет назвать его именем Рево — все равно, пусть и с перестановкой слагаемых, в сумме получится РЕВОЛЮЦИЯ. Но Василиса и во второй, и в третий раз родила дочерей... Весь этот жутковатый бред сознания, подогреваемого распаленным политическим энтузиазмом, был тогда нормой привычного советского конформизма. Конечно, этот бред обретал звучание на русском языке, но почему-то бредивших было очень много именно среди советских корейцев. Что там говорить — мою старшую сестру, с которой мы прибыли в Хабаровск, тоже звали Люцией! Но меня, родившегося вслед за ней, моя благословенная, светлой памяти матушка не позволила назвать Рево, и я теперь, слава Богу, Анатолий. Просто замечательно!

И вот в такое время, особый энтузиазм которого можно определить и по модным тогда именам, я с сестрой Люцией оказался в непонятном мире и впервые ощутил своей испуганной детской душой то состояние человека, что называется одиночеством в городе. Это одиночество в моем случае открыла мне бронхиальная астма, мучительная болезнь, отгородившая меня от всего мира стеной отчуждения. В особенности по ночам, когда приступы астмы усиливались и я лежал бессонный, весь в поту, изойдя мучительным кашлем и прислушиваясь к зловещему

клокотанию мокротных пленок в груди, было велико это одиночество!

У лектора Пака в доме мы с сестрою жить не могли, не было места, и нам пришлось искать по городу квартиру. Удачных вариантов не попадалось, и мы довольно много скитались по разным районам, живя у разных людей — русских и корейцев. В том районе, где нам удалось снять самую первую комнатку, мы и пошли в школу: сестра в девятый класс, а я в пятый. Когда же в результате последовавших перемен жилья мы оказались довольно далеко от первоначального места, мне пришлось ходить в школу через весь город.

Необычайно странной, печальной, гнетущей сердце предстала та наша городская жизнь — после камчатского существования на лоне дикой и могучей природы, после океанского гула, снежных ураганов, громадной луны над краем сопки, перед которой пробежала однажды по снегу стая волков... Непонятны и чужды мне были эти городские жители, столь уверенные в своих действиях и не знающие, что значит болеть и мучиться от удушья по ночам...

Непонятной и бесконечно чуждой была и красивая, сладко пахнувшая духами врачиха из крайкомовской больницы, куда я все же был определен на лечение. Когда я время от времени приходил к ней на прием, она всегда смотрела на меня с задумчивой жалостью, и мне было мучительно стыдно стоять перед нею раздетым, со своими тощими ребрами, тоненькими руками и утлой грудью, в которой не смолкал влажно клокочущий бронхитный хрип.

Зимой мне пришлось ходить по нескончаемо длинной улице Серышева, пересекавшей центр города и тянувшейся далее, почти к самой окраине, где находилась моя школа. И вот на этой-то улице меня стала подстерегать страшная и неумолимая беда — само Зло человеческое, о котором я до этого не имел никакого представления...

Прошло уже добрых полвека, а я, несчастный, все еще никак не могу забыть этого. Недалеко от школы меня стал встречать некий уличный мальчишка, подросток лет пятнадцати, русский паренек в большой ватной телогрейке, видимо, отцовской — с заплатками бедности на ней, с закатанными рукавами, которые были слишком длинны для мальчишеских рук.

Этот разбойник начинал свой разбой с того, что обшаривал на мне все карманы, вытаскивая из них мои детские сокровища, какие обыкновенно бывают у всех мальчишек на свете, забирал всю мелочь, которую давала мне сестра на тот случай, если часть пути я захотел бы проехать на автобусе или трамвае. Затем он потрошил мою школьную сумку, вынимал и

перекладывал в карман своей залатанной телогрейки мой школьный завтрак, который был заботливо уложен сестрою в бумажный пакет. Но, полностью ограбив меня, этот бандит не ограничивался добычей. Скверно усмехаясь своим недобрый плебейским лицом, покрытым ранними морщинками, он смотрел мне в глаза непонятым, почти веселым, внимательным взглядом и принимался мучить меня. Он бил кулаками по лицу, разбивал в кровь губы и нос, а потом, нагнув и подмяв меня под себя, протягивал снизу руку и своими грязными длинными ногтями расцарапывал мне лицо. Это было хуже всего. Это было уже не только насилие, грабеж и мучительство...

Спустя почти полвека мне тяжело вспоминать об этом. Измученный и ослабленный болезнью, я тогда не мог сопротивляться. Пока бандит обшаривал мою сумку и затем избивал меня, мое хилое тельце сотрясалось от кашля и в груди страшно хрипело, я задыхался. Ничего не стоило этому почти взрослому парню расправиться со мной, как того душа его пожелает. Но зачем же он расцарапывал ногтями мое лицо? Словно ставил на него кровавую печать своей ненависти. Меня можно было ограбить и избить, но за что же ненавидеть? Почему люди, делающие зло другим людям, еще и ненавидят их?

Алексей

За эту зиму и последующие весну и лето мы с сестрою переменили три квартиры. Я не знаю, почему это происходило. У сестрицы моей был решительный, независимый характер, и, несмотря на свои шестнадцать лет, она никогда не мирилась с тем, что ей не нравилось. Маленькая ростом, но очень сильная, крепконогая, подвижная, сестра хорошо танцевала, прекрасно плавала и занималась спортивной гимнастикой. Одно время она даже хотела пойти в цирковое училище, чтобы стать акробаткой. Но судьба у нее вышла другая, и она впоследствии стала строительным инженером.

Вторую квартиру она нашла в городской слободке, похожей на деревню своими одноэтажными домиками, палисадниками, огородами за кривыми заборами, и эта слободка была расположена в низине на берегах гниловатой речки Плюснинки. В приземистом неприглядном домике стояла огромная русская печь с лежанкой, и была холодная пристройка с обмазанными глиной стенами. Эту пристройку и заняли мы с сестрой.

В том доме жили три одиноких человека, находившиеся в каком-то родстве, но не очень близком. Общего семейного уклада у них не было, питались они отдельно, располагались по разным углам большой темной комнаты в выгороженных закутках. Я не знаю, кому из них принадлежал дом и почему эти люди жили вместе. Была там девушка Панна, полненькая, круглолицая, с ямочками на щеках, с белокурыми кудрявыми волосами. В отдельном чуланчике размещался молодой мужчина, уходивший на службу в синем мундире с золотыми нашивками и в форменной фуражке, — не то летчик гражданской авиации, не то юрист, как полагаю я теперь. А в закутке около русской печки располагался на дощатом топчане слепой человек по имени Алексей. На табуретке возле его постели всегда стоял старенький баян со стертыми перламутровыми пуговками-клапанами.

Пять лет назад прошла самая страшная для России война, после которой многие люди вдруг оказались в обстоятельствах одинокого существования. У одних погибли или развалились семьи, у других они еще не образовались, а многие, сорвавшись с родных мест, поужезжали в дальние края. С Панной, например, мы познакомились еще на Камчатке, где девушка, чуть постарше моей сестры, оказалась почему-то одна, без родителей. Ее дальний родственник, старший брат третьего жильца нашего дома, был директором русской школы в том же поселке, где мой отец работал директором корейской школы.

И вот к этим одиноким, но вместе живущим людям добавились мы с сестрой, стали жить в холодной, безо всякого отопления, крошечной пристройке, похожей на тюремный каземат. Там едва умещалась одна железная солдатская койка, на которой мы с сестрой спали «валетом» — головами в разные стороны.

О, это была ужасная комната! Маленькая кособокая дверь, которая вела туда, с трудом закрывалась, тяжело разбухшая от сырости. Крошечное окно с прогнившими рамами было всегда наглухо затянато ледяной коркой. В морозные дни зимы грубая штукатурка на стене покрывалась лохматой шубой инея. По утрам иней хрустел и на моих волосах, делая их жесткими, как сосульки, — всю ночь, мучимый удушливым кашлем, накрытый тяжелым ватным одеялом и всей теплой одеждой, какая только имелась у нас с сестрой, я отчаянно потел, и волосы у меня были мокрыми. Лежа в постели головами в разные стороны, мы с сестрой дыханием своим и руками грели друг другу ноги.

Но, несмотря на дикие условия, нам нравилось жить в этом доме. Любящая независимость сестра была довольна, что комната теперь с отдельным входом, не смежная и не проходная, как на предыдущей квартире. А мне было приятно водить компанию с хозяевами дома — с миловидной Панной и со слепым баянистом Алексеем. Придя из школы, я до самого вечера, до прихода из школы сестры, находился в большой хозяйской половине с русской печью, делал там уроки и потом дружески общался с хозяевами.

Панна была большая любительница читать книги, и это все были книги такие же пухлые, как она сама, и, видимо, столь же приветливые и ласковые, как ее нрав, — уютно устроившись на лежанке печки, засветив лампу, девушка на долгие часы с умильной улыбкой на лице склонялась над шелестящими страницами. Я к тому времени тоже пристрастился к чтению и был заядлый книголюб: еще на Камчатке, учась в четвертом классе, открыл я для себя это чудо и в поселковой библиотеке брал и перечел немало книг. В Хабаровске я также записался в библиотеку и всегда заказывал книги не менее пухлые, чем те, что читала Панночка. И, пристроившись где-нибудь неподалеку от нее, я столь же безудержно отдавался запойному чтению.

Со слепым Алексеем у меня были другие дела. Этот высокий, с прямой осанкой, крепкого телосложения человек с белыми неподвижными глазами был всегда добр ко мне. Разговаривая, он неизменно улыбался — и всегда почему-то смущенно, казалось мне, даже робко, словно это он был мальчишкой двенадцати лет, а я перед ним — взрослым человеком. Улыбка

его была широка, осклабиста, с лукавым загибом углов рта вверх, отчего на худых щеках его образовывались глубокие складки. Белые зрачки глаз при этом обращались куда-то вверх, вдаль.

Он со мною и разговаривал как со взрослым. Впрочем, рассказы его были о том, что понятно и взрослому, и ребенку: это были воспоминания о его деревенском детстве. Оказалось, что Алексей в раннем детстве видел вполне нормально, ослеп он уже подростком. И в его рассказах, самых простых и бесхитростных, было столько света, простора, живого движения. Я уж и не помню точно, о чем они были, эти рассказы: кажется, о каком-то деревенском попе, о драчливом петухе, который жестоко клевался, о рыбной ловле... В сущности, он тогда делал то, что пытаюсь делать сейчас и я, — прояснял в памяти увиденные картинки мира, которые и являются прошедшей жизнью, бесценной и прекрасной. Иногда по моей настойчивой просьбе Алексей брал в руки баян и пел хрипловатым приятным голосом разные песни. Это были и известные в то время песни, которые я слышал раньше, и некоторые неизвестные мне странные, диковатые песенки из особенного народного репертуара, в которых изливается тоска, жалоба русского человека с неудачной судьбой: бродяжки и тюремные саги, сиротские жалобы, воровские залихватские куплеты, мещанские баллады о загубленной девичьей любви... Русский человек улицы, человек городской площади, дорожно-вокзального бесприютства любит подобные песни...

Дело в том, что Алексей был традиционным слепым певцом, уличным музыкантом, без которого не обходится русская жизнь на миру. Он пел на больших, шумных хабаровских базарах, тем и зарабатывал себе на жизнь. Подаяние, которое он собирал, не было гонораром нищего попрошайки, это были трудовые деньги, но Алексей никогда не говорил дома о своем занятии и стыдился, очевидно, перед знакомыми. Если кто-нибудь из них заговаривал на базаре с ним, он тут же собирал баян и удалялся. Зная об этой его болезненной гордости и стыдливости, знакомые Алексея подходили и клали ему деньги в шапку втихомолку.

В Хабаровске среди простого народа, вынужденного в трудное послевоенное время толкаться на барахолках и базарах, слепой Алексей-баянист был весьма известен. Уже много лет спустя, взрослым человеком, я разговаривал с разными людьми из Хабаровска, и они помнили его.

Этот слепой музыкант, принадлежавший уличному народному искусству, независимому от всяческих институтов культуры, был в пределах своего мира выдающимся человеком. Он не пристрастился к вину, что является обычным явлением у русских людей, чья жизнь неблагоприятна и беспросветно тяжела. Я свидетель тому: никогда не

видел его не то чтобы пьяным, но и попросту выпившим. Несмотря на свое беспомощное состояние, он жил, никого не утруждая, ухаживал за собой сам и выглядел вполне опрятным. Свою немногочисленную одежду бедняка всегда содержал в порядке, ничего рваного, грязного, с дырами или с оборванными пуговицами я не видел на нем. Когда он бывал дома, то никому не мешал, передвигался бесшумно, никогда ничего не задевая, или тихо сидел в своем закутке возле печки, размышляя о чем-то, с кроткой улыбкою на лице, уставясь куда-то в пространство неподвижными глазами.

Он ходил по улицам без палки — с высоко поднятой головою, с баяном, завернутым в большой платок и подхваченным на плечо. Не имея поводыря, он находил дорогу в этом огромном городе, в этом мире. Он рассказывал мне о деревенском детстве, о своей жизни с чувством большой и чистой любви к ней. Он ни разу не пожаловался и не высказал чего-нибудь, что явилось бы проявлением хоть малейшего недовольства судьбой.

Мне за свою жизнь пришлось встретиться с некоторыми поистине значительными людьми нашего мира, и слепой Алексей был одним из них. Он мог бы снять с моего детского сердца печать несправедливости, чем был отмечен, как открылось мне, к горести моей, человек в этой жизни. Мне надо было только рассказать тогда Алексею о моем мучителе, который встречал меня на пути в школу, и спросить, что же мне делать...

Но я ничего ему не рассказал и ни о чем не спросил. Со всем упорством своего маленького, но непреклонного сердца я продолжал ходить в школу по той же дороге, где меня ожидали позор, унижение и боль. Уже заранее, издали увидев длинную, нескладную фигуру своего мучителя, я принимался рыдать от бессильной ярости, но все равно шел ему навстречу... Ну что я хотел этим доказать? И кому? А мучитель с нескрываемой радостью на лице поджидал меня и с удовольствием принимался за свое дело.

Алексей был добр и что-то знал такое, чего не знал я. Впоследствии мне не раз хотелось снова встретиться с ним и поговорить. Но это было невозможно — я слышал от одного человека, который в те далекие годы тоже знал слепого певца, что Алексей вскоре погиб. Он переходил улицу, со своим баяном на плече, как всегда без палочки, высоко подняв голову и как бы доверчиво глядя в небо, и его сбил мчавшийся по дороге грузовик.

Летом наши родители вернулись с Камчатки на материк, отработав свои договорные три года. Встреча наша состоялась в доме лектора Пака, там отец должен был пожить с семьей в ожидании назначения на новое место. Когда мы в этот день подошли с сестрой к старому деревянному дому, на первом этаже которого жили Паки, и с улицы увидели в раскрытое

окно отца и мать, с нами что-то случилось. Я помню только, что, отчаянно вскрикнув, кинулся с улицы прямо к окну, вмиг перелетел через высокий подоконник и с громкими рыданиями упал в объятия отца. Тот же путь через подоконник совершила и сестра, хотя входная дверь в дом находилась рядом, в пяти шагах... Кажется, я впервые тогда увидел слезы на глазах отца.

Вскоре он получил назначение преподавать русский язык и литературу в сельской школе, в Вяземском районе. Место это было в глухом таежном углу, недалеко от реки Уссури, и деревня, в которой нам предстояло жить, носила необычное для российских деревень и весьма привлекательное название — Роскошь.

Роскошь

Деревня с прелестным названием Роскошь была расположена в двух километрах от станции железной дороги среди лесистых сопок Уссурийского края. Это была обычная бедная русская деревня, бревенчатая, под тесовыми крышами, с убогими сараями и крошечными банями. Чему обязана она столь великолепным названием — неизвестно. Разве что тайга, роскошная уссурийская тайга, сохранившаяся к тому времени во всей своей девственной красоте и силе, со всяким диким зверьем: кабанам, изюбрями, тиграми и медведями, тьмою всякой красной дичи, с изобилием грибов, ягод и орехов — тайга, и живность в ней, и необычайно красивые окрестности деревни могли дать ей это название, звучавшее без всякой иронии и самоиздевки.

Как и все деревни, Роскошь была населена крестьянами, работавшими почти бесплатно на государство, и вся жизненная надежда их была связана лишь с тем, что давали приусадебные участки. На них в основном выращивали картошку, которая рождалась в тех краях очень хорошо; картошкой питались и сами жители, ею кормили домашний скот, свиней и птицу.

В сентябре, когда начались занятия, классы нашей семилетней школы в деревне оказались пусты — вся округа начала уборку картофеля, и дети принимали в ней участие наравне с родителями. Когда после уборки, через пару недель, ученики начали появляться в школе, вид у них был изможденный, руки у всех были черны от земли, покрыты темными, кровоточащими трещинами, и на ладонях блестели твердые роговые мозоли. Но, несмотря на усталость, крестьянские дети, мои новые друзья-приятели, с довольным видом сообщали друг другу, сколько мешков картошки накопили их семьи со своих приусадебных соток. А участки у колхозников в Роскоши были немалыми — до полугектара, а у некоторых даже и больше...

Там впервые я соприкоснулся с русской деревенской жизнью, невзрачной на вид, как картошка, но такой же богатой содержанием жизненной энергии и добрых надежд нации. Для России и раньше, и теперь, и, наверное, в будущем деревня была и останется главным хранилищем духовных ценностей и нравственного богатства русских людей. В серой деревянной деревенской Руси предстояло мне распознать душу ее народа, проникнуться ее теплом, ощутить и полюбить корни

могучего русского языка. Русский писатель во мне родился, я думаю, именно там, в дальневосточной деревеньке Роскошь. Именно там были предприняты и мои самые первые в жизни попытки написать какие-то стихи.

Но лесной воздух, насыщенный парами болот и вечной прохладой таежных дебрей, куда не проникали лучи солнца, сырость и холод Уссурийского края почти докончили меня. Хрипы в груди и кашель уже не давали спать по ночам, влажный и липкий пот, в котором я буквально купался во время припадков удушья, казался последним смертным потом.

Люди обычно не замечают того, что Бог постоянно творит каждого из них, — и эта Его работа, это творчество ни на миг не прекращаются. Людям обычно кажется, что они давно существуют такими, какие они есть, и ничто в них уже не изменится. Они не верят и не хотят верить тому, что каждый из них родился для того, чтобы умереть. Нет и нет! — вопит любая, самая малая, клеточка его существа, и человек бодрой рысью устремляется в жизненную гонку...

Но только тому, чью грудь рвет и душит непобедимый недуг, дано постичь роковую незаконченность своего существа — однажды ночью, вдруг, уставясь широко раскрытыми глазами в кромешную темноту. Вся жизнь лишь кажется законченной, как достроенный дом, — и это иллюзия, охватывающая смертную душу. И только тем, для которых узелок за узелком развязываются пути жизни, открывается нечто ошеломительное, странное — и безмерно неутешительное. Оказывается, что ты никогда не дойдешь, сколько бы ни шел, — никогда не доживешь, сколько бы ни жил.

И то, что считал я своим существом, своей личностью, неким Анатолием Кимом, вдруг оборачивается не чем иным, как клочком голубоватого тумана поутру, за окном, над смутным картофельным полем. Или становится совершенно ясным, что багрово-золотистая осень тайги светится, пылает где-то в височной части моей головы — там, где с лихорадочным беспокойством бьется тоненькая нервная жилка.

И меня уже нет — есть картина, странный, немного сумбурный кинофильм, который составляется из кусочков желтой казахстанской степи, синеватых каменных глыб Камчатки и оранжево-буйных всплесков осенней уссурийской тайги. Мое «я» — это просторы и ландшафты Земли, на которых меня уже нет. Но, коли я все же существую, во мне продолжают существовать те картины мира, из которых создается кинофильм моей судьбы.

И этот фильм тоже не будет закончен.

Но я вновь просматриваю превосходный «отснятый киноматериал».

Наша первая осень в уссурийской деревне, золотистое, теплое бабье лето. Сказочное изобилие грибов в лесу. Увитые лозами дикого винограда белые березы и гроздья темно-синих ягод на них. Райские деревья на опушке леса: усыпанные перезрелыми ягодами боярышники и дикие яблони...

Грибов в ту осень народилось столько, что за ними даже неинтересно было ходить в лес. И вот как это происходило. Мы с приятелем Колей Смотраковым однажды вышли с ведрами в руках за деревню и, не дойдя еще до леса, увидели возле дороги большой березовый пенек, весь усыпанный светлыми, чуть желтоватыми грибами. Это были осенние опята. Мы с Колей подошли, быстренько набрали полные ведра грибов, после чего он сказал: «Ну, все. Пошли домой». Тут же рядом, вблизи пня, мы нашли несколько больших подосиновиков с багровыми лоснящимися шляпками. Эти гиганты едва уместились сверху ведра, туго набитого мелкими опятами.

Жаренные деревенским способом, в масле и с луком, грибы настолько понравились всем в нашей семье, что однажды отец с матерью решили сами сходить за грибами. Они раньше никогда этого не делали: лесная жизнь и всякие лесные охоты и промыслы были им неизвестны. Вот и вышло так, что родители притащили домой и, ни в чем не сомневаясь, накормили семью какими-то грибами, от которых отец и я чуть не умерли. Мы провалялись два дня, то и дело теряя сознание, нас рвало какой-то пенистой желчью.

Малолетние братишка и сестренка отделались легким недомоганием. Одной матушке ничего не было: жертвуя собою, как и всегда, она почти не ела жареных грибов, побольше подкладывая нам с отцом. И ей же пришлось выхаживать нас, отпаивать свежим молоком, как посоветовали деревенские женщины.

Но не только грибами потчевала нас уссурийская тайга. Не забыть мне вкуса черного дикого винограда, мелкого, как смородина, с сизым налетом на ягодах. После первых осенних заморозков они окончательно доспевали и были необычайно сладкого и одновременно терпкого вкуса. И дикий лимонник с желтыми ягодами, пахучими и кислыми, запомнился мне навсегда. И непередаваемый вкус лесных яблочек, размером с черешню, с нежной мучнистой мякотью...

Та золотая осень в тайге, вокруг деревни Роскошь, была расшита яркими красными ягодными узорами.

Как во сне, вижу сейчас и другие чудесные творения Уссурийского края. Просторная роща пробковых деревьев. На их стволах лопнула и

отпала старая кора, и от этого дерева кажутся больными либо высохшими. А вот выступили из таежной чащобы на широкий перелесок и темные толпы маньчжурского ореха, похожего на грецкий: в толстой мясистой упаковке, с теми же измятыми твердыми скорлупками.

Осенью золотисто-багровые просторы лесов вдруг оглашались могучим ревом, и эхо далеко разносило по горам эти дикие трубные звуки. Местный охотник, он же и учитель физкультуры в школе, разъяснил моему отцу, что это режут изюбры, дикие олени, — у них начался гон, свадебная пора. Этот учитель, по фамилии Лебедь, красивый, как киноактер, еще молодой мужчина, показал нам с отцом, как надо перекликаться с изюбрами. Он снял ствол со своего охотничьего ружья и, приставив его дулом ко рту, стал протяжно трубить. Звук получился таким же хриплым, диким и грозным, как и рев зверя, — и тотчас же издали донесся ответный крик изюбра.

Учитель Лебедь пристрастил к охоте и моего отца. Отец купил дорогое ружье-двустволку, обзавелся всем необходимым охотничьим снаряжением, в доме у нас появились такие необычайно привлекательные вещи, как мешочки со свинцовой дробью и тяжелыми пулями — «жаканами», коробки с черным порохом, с блестящими пистонами, широкий пояс-патронташ с отделениями для зарядов с дробью и пулями, шомпол из красного дерева, медные и картонные гильзы. Мы жили на квартире у одинокой старухи Царенчихи, в бревенчатой избе, и занимали единственную комнату — сама же хозяйка уютилась в крошечной передней и спала на русской печке. Тесновато было нам в этом доме, и все охотничье снаряжение, пакеты с порохом и мешочки с пулями то и дело попадали матери под руку, и она ворчала на отца, что он подвергает опасности семью. Но он был захвачен новой страстью и, не споря с ней, увлеченно занимался своим опасным делом: менял пистоны на патронах, насыпал порох маленькой меркой, набивал патроны, заколачивал в них войлочные пыжи. И я с удовольствием помогал ему.

В теплые дни бабьего лета я тоже ходил с ним на охоту. Из-за болезни я был слаб, поднять ружье мне было не под силу, и я не стрелял. Но уж очень хотелось побродить вместе с отцом по тайге, и я со слезами умолял его взять меня с собою, и он уступал, несмотря на то, что матери не нравились эти наши охотничьи подвиги. После каждого из них мне становилось хуже, я сам чувствовал это — и все же неодолимо тянуло в лес, и огромным счастьем для меня был каждый наш совместный поход.

Я был при отце кем-то вроде охотничьей собаки: шел впереди и вел его за собою. У меня было чутье на дичь, я всегда точно выводил на нее. К

тому же я научился весьма искусно свистеть в маленький жестяной свисток, подражая писку рябчика. Даже заядлый охотник Лебедь не умел столь хорошо свистеть рябчиком, как я, а у моего отца это и вовсе не получалось. Весь потный, задыхаясь от хриплого клокотания в груди, я тихонько шагал по неведомым охотничьим тропам и время от времени самозабвенно принимался свистеть, стараясь передать все тончайшие оттенки птичьего голоса. И в ответ отзывались рябчики, а некоторые из них прямо летели ко мне, нежно шумя крыльями.

Отец был никудышным охотником и стрелял плохо. Почти никогда не удавалось нам вернуться домой с добычей, но это меня не особенно огорчало. Охота привлекала мою душу не охотничьими трофеями, а чем-то совершенно иным. Я тогда не знал и не мог знать того, что в будущем, когда вырасту и окрепну, так и не стану охотником. Могучий зов живой природы, ее родной голос и мое сердце, радостно откликающееся на этот зов, ничего общего не будут иметь с жаждой обрести кровавую добычу. Но я должен был уже тогда, в детстве, однажды узнать об этом.

Был особенно неудачный день охоты. Я свистел хорошо, и на мой коварный зов прилетало множество рябчиков. Они садились на деревья невдалеке от нас, и отец стрелял, но каждый раз промахивался. И чем больше он промахивался, тем хуже стрелял. Руки у него заметно дрожали, на лице застыла виноватая, растерянная улыбка. Ноздри его потемнели от пороховой копоти, он расстрелял почти весь патронташ.

Я также задыхался от волнения и впадал в отчаяние, мы с отцом растерянно переглядывались после каждого его промаха, и я первым отводил глаза... Наконец мы совершенно пали духом, я почувствовал крайнее утомление, и нам пришлось присесть под деревом. Мы молча отдыхали, потихоньку осознавая всю меру своей неудачи.

И тут я, немного отдышавшись, опять взялся за свисток. Тотчас невдалеке отозвался рябчик — и вскоре подлетел, фырча крыльшками, и уселся неподалеку. Мы с отцом отдыхали на открытом месте, посреди лесной поляны, сидя под раскидистой березой. На соседнюю березу, шагах в двадцати от нас, и опустился прилетевший рябчик. Возбужденный и растерянный от неудач отец стал медленно, очень медленно поворачиваться с ружьем... Он тщательно прицелился и выстрелил.

Птицу на моих глазах разнесло в клочья. То, что осталось от нее, еще некоторое время висело на ветке, цепляясь за нее сжатыми лапками. Затем кровавые ошметки того, что совсем недавно было живым красивым рябчиком, упали под дерево в траву... Это был первый в моей жизни охотничий трофей — и последний.

С того дня и до сих пор я никогда больше не охотился.

Женьшень

Год, прожитый в деревне Роскошь, прошел быстро, но в памяти сохранился надолго. Я мог бы и сейчас нарисовать те осенние сливовые заросли, ничьи на деревенских задворках, где приходилось мне лакомиться чудными желтыми сливами. Их в основном кто-то успевал собрать, но на ветках всегда оставалось достаточно недосмотренных ягод, и они-то были моей добычей. Я лазал в густых колючих зарослях, нагибал ветки, собирал с них ароматные сливины — и однажды вдруг услышал шуршание и треск в соседней куще. Нет, это был не медведь, это была небольшая симпатичная девчушка с синими глазами и веселыми конопушками на носу — Галя Фатина, ученица седьмого класса. Для пущей важности мне хочется сказать, что я испытал к ней свою первую любовь, и, может быть, она была взаимной, потому что в ответ на мое любовное письмо к Гале, переданное через ее подружку, я получил записку, в которой значилось: «ЧТО ТЫ, ТОЛЯ, ЗАДАЕШЬСЯ, ВЫСОКО ВОЗНОСИШЬСЯ? ПО ПОХОДКЕ СРАЗУ ВИДНО — СКОРО ОПОРОСИШЬСЯ». И все же по такому ответу мне трудно было решить определенно, что я любим и дорог, и в неуверенности этой я пребываю до сих пор.

Но вполне возможно, что с того случая во мне и шевельнулся затаенный во всех человеческих душах вопрос вопросов: любят ли меня так же, как и я люблю? Вопрос этот обращен ко всему, что составляет основу нашего бытия: к другому человеку, к жене, к своей судьбе, к самой жизни, к Богу. Я не мог тогда столь ясно определить это главное условие нашего существования, как определил сейчас, — для этого понадобилась целая жизнь. Детское сердце оказалось способным лишь прикоснуться к жгучей тайне.

Однажды ночью, когда приступ болезни был особенно сильным и, лишь промучившись несколько часов, мне наконец удалось уснуть, я внезапно проснулся от звука голосов моих родителей. Они полагали, наверное, что я сплю, и негромко разговаривали в темноте. Речь шла о том, что предстоял новый переезд — на Сахалин, но их беспокоило состояние моего здоровья. Глубокая тревога слышалась в голосах моих дорогих родителей. Отец даже поднялся с постели и, подойдя в темноте ко мне, осторожно приложился ухом к моей груди, вслушиваясь в хриплое дыхание. Я не подал вида, что проснулся, и лежал, не шевелясь.

И разговор продолжился такой:

- Ребенку становится все хуже и хуже...
- А что поделаешь?.. Никакие лекарства не помогают.
- На Сахалине, говорят, сырой климат.
- Если ему суждено умереть, то какая разница где...
- Конечно... Надо, наверное, ехать.
- Да, надо ехать... Неужели нам суждено потерять его?

Я не могу определенно сказать, что со мною произошло в ту минуту. Но что-то очень важное, несомненно, открылось моей душе. Я ничуть не испугался того, что услышал. И родительское отчаяние, в котором они уже готовились к самому худшему, не встревожило меня. Наоборот, я как-то мгновенно успокоился. Мне помнится, что я даже улыбнулся в темноте и вскоре уснул с легким сердцем. И во сне продолжилось то же самое уверенное ликование: я знал уже, что не умру, что напрасны тревоги моих родителей...

В конце августа мы уехали из Роскоши и отправились на Сахалин. А когда во Владивостоке сели на пароход — буквально в тот же день началось мое чудесное выздоровление. Кашель исчез и хрипы в груди прекратились, как будто всего этого никогда у меня и не было. Я бегал по всему пароходу вместе с какими-то ребятишками, с которыми успел познакомиться, и у меня было такое чудесное настроение!

Погода на море стояла замечательная. День этот был в моей жизни одним из самых значительных, отмеченных судьбою, и поэтому, наверное, я столь хорошо его запомнил. Морской простор был ярко-синим, небо — безупречно голубым и звонким. Ослепительное солнце заливало палубу парохода потоками теплых лучей, припекало мою стриженую голову. Дышалось глубоко, радостно, легко — и это ощущение доставляло мне неизъяснимое наслаждение: ведь столько лет самым мучительным для меня было просто дышать. Любой глубокий, порывистый вздох мог вызвать в моей груди хриплое клокотание и изнурительный кашель.

На Сахалине, в небольшом рыбацьем поселке, куда был направлен работать мой отец директором корейской школы, болезнь совершенно оставила меня. Я не могу объяснить себе этот редкий медицинский случай, да и не хочется мне ничего объяснять. Сколько порошков, сладких, горьких и соленых микстур было выпито, сколько проглочено рыбьего жира, от одного запаха которого меня выворачивало, и съедено свиного жира, перемешанного со свежим медом, — все было напрасным... А тут в один день и без всякого лекарства прошло, зажило, прочистилось, свободно задышалось!

Тогда за одно лето я вырос на шесть сантиметров! Отец купил мне

велосипед, и я стал гонять на нем с утра до вечера, даже научился свободно ездить, выпрямившись в седле и небрежно заложив руки за спину...

Однажды мать подозвала меня, усадила за стол и выложила небольшой тряпичный сверток. Глаза у матери светились от какой-то большой сдержанной радости — прекрасными были сияющее лицо и нежный материнский взгляд, направленный на меня, но различающий, казалось, сквозь мою сущность и что-то другое. Она бережно развернула узелок, словно там затаилось живое, хрупкое, трепетное существо. И как же я был удивлен, когда увидел кусок обыкновенной желтоватой бересты, свернутый корытцем и поверх обвязанный бечевкой. Размотав ее, матушка развернула бересту, и под нею оказалась пригоршня темной земли, из которой торчали какие-то лохматые корешки.

— Смотри, сынок... Ты знаешь, что это такое? — необычайно серьезным голосом проговорила она. — Это настоящий горный женьшень. Один охотник нашел его и выкопал в тайге, а я купила у него за большие деньги. Это старый, очень ценный корень. Он лежит в той же земле, в которой вырос. Так надо выкапывать лесной женьшень — чтобы ни один его волосок не пропал... Я это купила для тебя, но до сих пор не могла тебе дать, потому что нельзя было, — говорила дальше мать, светло улыбаясь. — Женьшень, сынок, не надо давать больному. Говорится ведь, что женьшень добавит еще сто болезней тому, кто болен, а того, кто здоров, сохранит от ста болезней. Я дождалась наконец, что ты выздоровел, и теперь приготовлю его для тебя. И ты съешь женьшень, и больше никогда не заболеешь, и будешь жить долго-долго.

Мать купила эти корни у какого-то старого охотника, который научился искусству искать женьшень у корейцев, живших раньше на Дальнем Востоке. Таким образом, этот чудодейственный корень жизни я получил не только благодаря стараниям любящей меня матери, но и, считай, непосредственно из невидимых рук моей далекой Прародины...

Моя матушка приготовила женьшень по старинному способу: сварила корень вместе с цыпленком. Она велела мне съесть все мясо и разваренные кусочки корешков, разжевать мягкие косточки и выпить бульон без остатка. Цыпленок был большой, а порезанные кружочками корешки оказались горьковатыми, я весь вспотел от усердия, но съел все, как мне было сказано. Матушка сидела напротив и со счастливым видом смотрела на меня.

Я всю жизнь помнил это лицо матери — и сейчас, когда пишу, вижу его... Когда через много лет матушка скончалась, я по памяти нарисовал именно это ее лицо, и портрет был помещен на каменном надгробии.

Теперь, когда я приезжаю в небольшой русский город Боровск и иду навестить материнскую могилу, именно эта сияющая улыбка и добрые глаза встречают меня еще издали — поверх могильной ограды, среди березовых белых стволов кладбищенского леса.

Поселок Ильинск, в котором мы оказались, весь состоял из серых дощатых бараков и старых японских домов весьма невзрачного вида. Улицы были непокрытые, пыльные, по их краям тянулись сточные канавы с вонючей грязной водой. Громадные крысы преспокойно посиживали на берегах этих канавок. Повсюду видны были следы убогой, беспорядочной и безрадостной жизни на заброшенной окраине мира. И только воинский городок с аккуратными рядами крашенных свежей краской казарм, стоявших на окраине поселка, придавал ему некую цивилизованность и, можно сказать, даже нарядность. По крайней мере аляповато раскрашенные ворота воинской части, зеленые пушки, всегда зачехленные, и рядами стоящие грузовики с бронетранспортерами притягивали мое детское внимание и отвлекали от унылой поселковой действительности. Наша семья жила в длинном двухэтажном японском здании, где размещалась корейская школа-семилетка, — отцу выделили там директорскую квартиру. Нам рассказали, что в этом доме раньше, при японцах, было веселое заведение с девками, и я услышал жутковатые рассказы о том, как некоторые из них были убиты или замучены пьяными гостями и закопаны в подвалах дома. И теперь еще по ночам, рассказывали нам, можно услышать женский плач, доносящийся из каменных подвалов. А иногда и раскрывается темное окно, из него наружу высовывается женская белая тень и нежным голосом заманивает припозднившегося прохожего. От таких рассказов у меня замирало сердце.

Но днем здание школы и двор заполнялись корейской детворой, начиналась беготня, гремел медный звонок, созывающий всех на уроки. Наша квартира помещалась в дальнем конце школы, отгороженном невысоким палисадником, и оттуда я часто наблюдал за шумной жизнью школьных перемен и занятиями по физкультуре, проходившими на спортивной площадке. Я ходил в другую, русскую, школу, и вначале у меня не было друзей среди корейских ребят, но постепенно я стал знакомиться и с учениками отцовской школы. Они со мной хотели разговаривать на русском языке, а я с ними старался говорить по-корейски — так мы взаимно обучали друг друга языкам.

Сахалинские корейцы показались мне несколько другими, чем те, которых я встречал на Камчатке. Там в общем-то были несколько забитые, робкие люди, державшиеся в стороне от русских, жившие своей скрытой

жизнью. А сахалинские мои соплеменники, в особенности подростки и молодые парни, выглядели вполне независимыми, мало чем отличались от русских парней, одевались щеголевато и всегда по моде: широкие брюки-клеш, хлопавшие на ногах и подметавшие пыль дорог, маленькие кепочки-«восьмиклинки» с узеньким козырьком... Иной щеголь выставлял в распахнутом вороте рубахи полосатую морскую тельняшку. Словом, не отставала корейская молодежь от моды тех лет.

Шли пятидесятые годы, жизнь при японцах давно прошла, и у моих друзей-корейцев постепенно проходило угнетавшее их раньше чувство своей второсортности и отсюда душевной угнетенности.

Сахалинским корейцам пришлось пройти сложный психический зигзаг — уход в сторону от японского давления и поворот к русскому натиску — немного раньше, чем их камчатским соотечественникам. И поэтому тот собственный жизненный уклад и душевные качества, которые они обретали при новых условиях, были уже выработаны и обретены: характер сахалинских корейцев уже определился.

О, этот своеобразный летучий и туманный характер сахалинских корейцев! Я хочу о нем рассказать подробнее и, вглядываясь в него пристальным взором, найти сходство с ним и своего собственного характера. Ибо я со всей серьезностью берусь утверждать, что в душевном устройстве людей имеют значение как кровь, что бежит по их жилам, так и вода, которая течет по руслам рек через земные долины, наполненные ровным гулом человеческой жизни.

Сахалин-1

Тогда я учился в выпускном классе семилетней школы. Возле нашей школы, за широким пустырем, находилась лесопилка, и высокие штабеля бревен громоздились рядом со школьным двором. На переменах да и после занятий я часто играл там с друзьями.

Точно такие же штабеля были и в эпизоде нашумевшего «перестроечного» кинофильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Там женщины увидели на круглых торцах бревен написанные краской имена своих мужей, которых давно арестовали, увезли и посадили в сталинские концлагеря. Огромная страна была густо затянута паутиной небывалого еще на земле тоталитарного режима. Миллионами гибли люди в северных лагерях, в тюремных казематах, под пулями карателей НКВД.

А мы, мальчишки, ничего об этом не знали и бегали по бревнам, наваленным высокой горою. И все, чем мы рисковали, — это нечаянно свалиться с бревна и сломать себе ногу или руку. О глубоком неблагополучии народного существования, частичками которого были и наши мальчишеские жизни, мы и не догадывались. То, что жизнь наша убога, печальна и бедна и что она могла бы быть намного лучше, — такое нам и в голову не приходило. Весеннее солнце наделало сырости и развезло грязь по всей земле, а на бревнах было сухо, там можно было отыскать уютный закуток, укрытый со всех сторон, и, схоронившись от холодного ветра, погреться под теплыми солнечными лучами... И на большой перемене, которая продолжалась минут двадцать, мы бегали туда посидеть на солнышке. Иногда, придремав в весеннем блаженном тепле, мы опаздывали на уроки, и за это нам, разумеется, попадало от учителей.

И вот однажды, уже довольно много времени спустя после начала очередного урока, в класс вошел Саша Горшков, комсомольский секретарь. Я и подумал, что он бегал на штабеля бревен, да что-то сильно подзадержался... Он встал у порога и, потупив голову, долго ничего не говорил — и вдруг навзрыд заплакал, утирая кулаком слезы. Что за дела? Саша Горшков был постарше других и уже интересовался девочками, «женихался». Он и еще несколько парней из нашего класса: Володя Молибог, Коля Хе, Иванов Саша — они что-то там делали с нашими крупными, упитанными девочками, загоняя их на перемене в темный угол класса. А девочки только радостно повизгивали в ответ... И вдруг он плачет, комсомольский вожак выпускного класса! Это была очень

выразительная фигура: в свои пятнадцать-шестнадцать лет парень уже выглядел как комиссар, носил темный китель «сталинского» покроя, ходил в высоких, до блеска начищенных черных сапогах. (Наверное, он впоследствии стал каким-нибудь партийным работником.) И так, отвернувшись лицом к стене, Саша Горшков поплакал, а потом срывающимся голосом произнес что-то невообразимое:

— Сталин умер.

Теперь-то весь мир знает, что такое сталинские лагеря. А тогда, в марте 53-го, нам показалось, что закатилось солнце жизни для нас. Было совершенно немыслимо на месте этого солнца вообразить что-то другое. Как-то даже и близко не представлялось, чтобы вместо этого имени на лозунгах с привычными словами «ДА ЗДРАВСТВУЕТ...» появилось бы какое-нибудь другое имя.

Тогда было незыблемое представление, что обязательно надо кричать «ДА ЗДРАВСТВУЕТ...», — тоталитарный режим в любой своей форме рождает прежде всего жалкое раболепие в своих гражданах.

Боже мой, так неужели ничего другого в моем детстве не было, кроме этого чувства рабства?

Нет, было и другое.

Был огромный лохматый медведь, которого я увидел за кустом шагах в десяти от себя, а точнее, сначала услышал сильнейший треск сучьев, затем успел мгновенно заметить краем глаза темно-бурую гору звериного меха — медвежий бок... Дело было летней порою, когда на Сахалине созревала черника — сочная темно-синяя ягода, усыпавшая сплошняком невысокие кустики в лесу. Компания детворы с жестяными бидонами и ведерками отправилась в лес, не так уж далеко от поселка, и там произошла эта неожиданная встреча с мохнатым Хозяином. Он, по всей видимости, тоже лакомился ягодами и, столь же увлеченный сбором черники, как и мы, не заметил нашего приближения. А может быть, он попросту спал, забившись в прохладное место. Что бы там ни было, встреча оказалась неожиданной для обеих сторон — я заорал благим матом и в беспамятстве кинулся прочь, бросив оземь бидон с ягодами, а медведь затрещал по кустам, как нечаянно влетевший в лес локомотив, и умчался в обратную сторону. И поскольку он двигался намного быстрее меня, то и скрылся в лесной глубине раньше, чем я успел выбежать на опушку. Там уже мелькали последние две-три фигуры из нашей ягодной компании, улепетывавшие во всю прыть и далеко обогнавшие меня. А я, несколько опомнившись, приостановился, оглянулся и прислушался. Сзади было все тихо. Тогда, чуть поскуливая от страха, все еще державшего меня за шиворот, я

поплелся назад — искать брошенный бидон с ягодами...

Было холодное синее море с серой полосой прибрежного песка, в котором покоились выброшенные волнами куски дерева, обглоданные соленой водой, похожие на громадные кости. Много часов моей мальчишеской жизни прошло на том берегу. Впервые увидел я там сказочных великанов, бредущих вдоль морского горизонта с облаками в обнимку. Небольших рыбок и крабью мелочь, что удавалось добыть на отмели, мы пекли на кострах и съедали всей компанией первобытных охотников и сборщиков, забыв о цивилизации, не помня о школе и нудных учебниках, безо всякой заботы о том, во имя кого кричать «да здравствует».

На этом первозданном океанском берегу происходили весьма суровые дела, соответствующие первобытным отношениям. Мой приятель Кешка, по прозвищу Ташкент (он с родителями приехал на Сахалин из Ташкента), рассказал мне под большим секретом, как несколько мальчишек, под руководством Кабаси, шпанистого пацана из поселка, убили какого-то пьяного корейца и закопали его под сопкой в песок. И все это вполне могло быть: Кешка-Ташкент клялся мне, что он говорит правду.

Да, и такое было. Но там же, среди этих серых телогреек лагерного вида, в которые было одето большинство взрослых и детей (они ходили в родительских обносках, закатав для удобства длинные рукава на своих худых, тонких запястьях), среди тяжелой, мрачной матерщины пьяных сезонников и сезонниц прошла и моя самая настоящая первая любовь.

Я не буду сейчас расплываться от умиления по ее поводу — нет такой задачи в этой повести. Может быть, в другом настроении придут другие слова и разукрасят эту любовь в самые радужные цвета. А теперь я хочу говорить лишь о тех тяжких ударах и, возможно, скрытых переломах души (как бывают и скрытые переломы костей), которые я испытал в связи со своим первым чувством.

Мне сейчас надо осознать во всей беспощадной правдивости, каким образом и из чего складывалась моя душа, столь мучительная и непонятная для меня самого... Надо подумать о том, как я постепенно становился тем человеком, каким являюсь сейчас, — и тогда, может быть, я наконец пойму, кто я такой на этом свете. А без этого — нет мне покоя. Я складывался как человек в условиях торжествующего абсурда, среди людей, ведущих абсурдное существование, и сам был носителем этого абсурда. И не знаю, насколько Красота мира и Любовь человеческая смогли внести в мое существо те качества, которые угодны Богу и оправдывают присутствие человечества во Вселенной. Вот как происходила тогда во мне борьба любви и отчаяния.

Моим идеальным существом стала девочка по имени Бэла Дидикаева, осетинка, — как сейчас говорят, представительница «кавказской национальности». В свои двенадцать лет она была уже поразительная красавица, известная на всю школу и на весь наш маленький городок. Именно Бэле дано было пробудить в моей душе древний хан всех корейских мужчин — глубочайшее благоговение перед женской красотой. Мне от нее ничего не надо было, я хотел бы, чтобы она только один раз обратила на меня свое внимание — и узнала... Что именно? То мне трудно сказать.

И вот благодаря вмешательству высших сил, наверное, внимание прекрасной Бэлы было обращено на меня. Невероятно, но я был признан и даже как бы избран этой юной красавицей. Мне даже было дозволено выбирать именно ее в наших детских играх, где требовались пары, и даже сидеть рядом с нею в кино и держать ее за руку.

Она была дочерью офицера, майора из той войсковой части, что стояла в нашем поселке. Я ходил в военный городок, где жили мои новые друзья, дети офицеров, мы там играли на огороженном высоким дощатым забором пустыре позади штабного дома. Иногда вечерами всей компанией ходили в солдатский клуб смотреть кино.

Несколько девочек и мальчиков подросткового возраста составили замечательный ансамбль для детских игр тех времен — это были чудные игры: «штандер», «ручеек», прятки, круговая лапта («вышибалы»), «глухой телефон». Дети были в общем-то нормальными детьми из того благополучного слоя населения, к которому относилось армейское офицерство, и в их жизнь дикость окружающего мира не проникала, отгороженная высоким забором штабного двора. Я попал в этот обособленный детский мирок случайно — и дружил с лучшей из лучших девочек на свете. Но за это счастье мне пришлось платить.

Я был маленьким, большеголовым и довольно хилым после долгой своей болезни корейчонком, но меня избрали, я был отмечен благосклонностью Бэлы, и это пробудило в моем трепещущем, словно у кролика, сердце какую-то безумную отвагу. Я дрался с неблагородной шпаной из уличных шаек, которые, как волки, кружились вокруг наших невинных игрищ, затаив в душе какие-то преступные замыслы. Они поддавливали меня, когда поздно вечером я один уходил из военного городка домой. Они вызывали меня на кулачный бой с кем-нибудь из них и выставляли против моих мелких кулаков и жиденьких мускулов какого-нибудь бугая на голову выше меня. И я дрался с ним и зарабатывал себе на лоб громадную шишку, а под глаз синяк — и носил все это перед Бэлой,

ласково и понимающе смотревшей на меня, как боевые знаки отличия.

Но это трудное мое счастье продолжалось недолго. В те дни я впервые почувствовал, что самое невозможное возможно для меня, если я буду драться за то, что люблю, ничего не боясь и с готовностью в душе пойти до конца... Кто-то мне помогал — чтобы я мог преодолеть свою робость и смело, весело взглянуть в глаза опасности. Однажды после кино возле клуба меня окружила целая ватага неразличимых в темноте пацанов, и мне было сказано, что я, корейская морда, много о себе воображаю и дружу с девчонкой, с которой хочет дружить сам Паротик (это был бледный курящий и пьющий малый лет шестнадцати, главный «пахан» детского уголовного мира нашего поселка), и сейчас из меня сделают урода... В тесно сомкнувшийся круг ворвался какой-то кудрявый крепыш, широкоплечий, на голову выше меня. «Дайте, я врежу ему, пацаны!» — попросил сей добровольный экзекутор-любитель у почтенной публики и второпях не очень удачно смазал меня по скуле. (Впоследствии я узнал, что это был некто Валера, новоприбывший к нам офицерский сынок — один из тех ребят воинского городка, которым самим нравилась Бэла и не нравился я.)

Я тогда громко и весело рассмеялся. Этот неожиданный и для меня самого смех спас меня. Мне показалось смешным то, как суетился и спешил кудрявый малый, изготавливаясь врезать мне. Моя готовность принять все — безо всякого страха и упрека, в благодарность за избранничество Бэлы — оказалась и на самом деле великой. И я почувствовал во враждебной темноте сахалинской летней ночи, что мне кто-то помогает... Прибежали большие ребята из корейской школы, которых успел позвать мой младший брат, и после нескольких тычков по зубам и увесистых пинков в зад мои враги быстро рассеялись в темноте.

Итак, я оказался узанным Бэлой, и она пожелала предпочесть меня, а не другого, и этот другой, могущественный руководитель нашего поселкового детского уличного мира, просто уже обязан был как-нибудь расправиться со мной. Потому что я не собирался уступать и, охваченный счастьем и гордостью, смело шел навстречу судьбе.

Но вся эта моя готовность заплатить хоть жизнью за свое счастье не понадобилась. Вскоре воинскую часть перевели куда-то в другое место. В последний день, когда на железнодорожной станции уже стояли на открытых вагонах-платформах зачехленные пушки и грузились в товарные вагоны солдаты, офицеры и их семьи, было тепло и ясно и весело играл военный духовой оркестр.

Я стоял один в стороне и смотрел, как от грузовиков к вагонам бегают

мои уезжающие друзья, таская домашний скарб. Бэла тоже хлопотала, оживленная, веселая, не обращая на меня внимания. И я скоро ушел домой.

Мать попросила меня наколоть дров, и я с топором пошел к сараю. Я занялся дровами и все время слышал, как играет на станции духовой оркестр... Потом не выдержал и, бросив топор на землю, кинулся бегом к станции. Когда я вбежал на железнодорожную платформу, поезд уже тронулся и вагоны медленно проплывали мимо. Духовая музыка, звучавшая из переднего вагона, была уже далеко.

Я хотел еще раз увидеть Бэлу. Я молил об этом Бога. Но Он почему-то не разрешил мне этого.

Вместо нее в широко открытой двери проходящего вагона я увидел кудрявого Валеру, того самого, который когда-то небожно стукнул меня кулаком по скуле. Теперь он равнодушно мельком посмотрел на меня и, видимо, не узнал.

Сахалин-2

Этим же летом наша семья уехала из Ильинска — мы перебрались поближе к южной оконечности острова, в город Горнозаводск, при японцах называвшийся Найхоро-Танзан. Он мало чем отличался от предыдущего нашего места проживания: все такие же длинные унылые бараки пыльного цвета, все те же немощенные грязные улочки, покрытые черным прахом угольного шлака, выбрасываемого жителями прямо на дорогу. Городок этот располагался не вдоль морского берега, как прежний, а как бы впритык к морю — протянувшись на несколько километров по речной долине в глубину острова, между высокими крутобоковыми сопками, часть которых была покрыта темной зеленью лесов, а часть — яркой травой безлесья, среди которого торчали, словно причудливые скульптурные изделия, серебристые останки давно сгоревших деревьев. Здесь, на лысых сопках, когда-то были хорошие леса, но японцы их вырубали, а что не успели взять, то сгорело в лесных пожарах.

Если посмотреть со стороны моря, проезжая мимо Горнозаводска на пароходе, то можно увидеть лишь серую полосу песка и несколько длинных барачков точно такого же цвета, как и песок, да еще черную высокую трубу кочегарки, из которой выдавливался в небо лохматый угольный дым.

На пароходе я никогда не проезжал вдоль этих берегов, следовательно, ожившую сейчас в моей памяти картину я видел лишь с поверхности волны, покачиваясь на ней, когда заплывал вместе с ватагой товарищей далеко от берега. Людей на нем уже нельзя было различить, никаких звуков с пляжа тоже не долетало — и мы плыли, время от времени оглядываясь на безлюдную тишину вдали видневшегося города, который представал перед нами, парящими над бездной морской пловцами, совершенно незнакомым и таинственным.

Этот небольшой шахтерский городок, протянувшийся в глубину речной долины, стал для меня тем местом на земле, где вызрела моя юность, словно птенец под надежным родительским крылом. С четырнадцати и до семнадцати лет я благополучно и счастливо прожил в Горнозаводске. И в этом заурядном уголке глубочайшей сахалинской провинции и суждено было мне впервые прикоснуться к сокровищам, дорожке которых нет ничего в человеческом мире. Там я впервые прочитал «Войну и мир» Толстого и проникся высшим духовным трепетом поэзии

Лермонтова. В это же время я написал и свои первые лирические исповедальные стихи и сделал первые рисунки с натуры и этюды масляными красками.

Выходя из моря на берег ярким летним днем, подталкиваемый в спину дружескими крепкими ударами волны, я однажды ощутил себя ловким и сильным мускулистым парнем — так я незаметно и радостно проделал переход из детства в юность. И если все пронизанное светом детство мое было целиком связано со стихиями и чудесными откровениями природы, то юность моя оказалась благословенной встречами с людьми, которые бескорыстно несли мне дары уже другой, человеческой, духовной стихии и красоты, «творчества и чудотворства». Когда я перешел в девятый класс, в нашу школу приехала работать довольно многочисленная группа молодых учителей из Москвы, выпускников известного педагогического института. Это был энергичный, веселый народ, исполненный желанием немедленно сеять вечное и доброе по самым передовым методам педагогической науки. В сравнении с нашими прежними учителями, дремучими представителями старорежимной провинциальной педагогики, блистательная столичная молодежь выглядела соколами рядом с воронами. И хотя мы уже сжились со своими грозно каркающими педелями до состояния теплой, чуть попахивающей лицемерием, привычной домашности, новые порядки и веяния, пришедшие вместе с молодыми учителями, были встречены нами всей душой. Хотя надо сказать, что сразу обнаружились вопиющие недостатки в прежнем обучении по разным дисциплинам: мы оказались неучами по математике и химии, невеждами по астрономии и географии, полуграмотными в русском языке и дураками по литературе. Но сразу же всей дружной компанией, «без уныния и лени», столичная плеяда молодых учителей принялась вытаскивать нас из болота невежества и безграмотности.

Начались дополнительные занятия в школе — занимались после уроков допоздна. Иногда ходили мы и в общежитие для учителей, куда некоторых из нас приглашали на индивидуальные занятия. Времени и сил молодые учителя для нас не жалели, никакой личной корысти для них не было да и не могло быть. То был порыв чистого энтузиазма новой интеллигенции, продолжающей классические традиции старинной русской педагогики. Видимо, в знаменитом московском институте профессора хорошо обучили своих студентов правилам педагогического благородства и сумели внушить им высокое чувство ответственности за свое дело.

В сущности, они были бедным классом в существовавшей тогда табели о рангах государственных служащих: учительская зарплата была

одной из самых низких, пожалуй. Жили они в обычном и типичном для нашего городка длинном бараке с общим коридором, в маленьких комнатках с печным отоплением. За водой ходили с ведрами к колодцам или к водопроводным колонкам на улицу, готовили еду и стирали в своих клетушках — часто приходилось видеть, как на веревке, протянутой через всю комнату, висело сохнущее целомудренное учительское белье. И как ни прискорбно об этом упоминать, но нашим милым, интеллигентным, благоухающим хорошими духами учительницам приходилось бегать по нужде в классическое дощатое сооружение во дворе, грубо вымазанное для красоты и гигиены белой известкой.

Бедность не порок, как говорится, и с бедностью наша интеллигенция давно научилась справляться, и даже настолько успешно, что бедности этой порою и вовсе не было заметно. Однако в привычной борьбе с нею более умелыми оказывались все же наши молодые учительницы, а вот с мужской половиной московской педагогической плеяды обстояло дело похуже. Помнится, Юрий Петрович, замечательный и любимый наш физик и математик, чернобровый красавец, приходил в начале нового учебного года в замечательном костюме цвета кедровых орешков, в наглаженных брюках, в ослепительно белой сорочке и при галстукке. К концу же учебного года он являлся на урок в том же костюме, но с дыркой на локте и с такими пузырями на коленях измызганных неглаженных штанов, что просто неудобно было на него смотреть. О галстукке и белой сорочке и он, и мы постепенно забыли и старались не вспоминать.

Но именно он, наш добрейший Юрий Петрович, ни разу ни на кого не повысивший голоса, со всеми учениками обращавшийся неизменно на «вы», приучил нас слушать классическую музыку. Оказалось, что физик наш к тому же и неплохой пианист, профессионально игравший Чайковского, Рахманинова. По заведенному порядку ученики старших классов с кем-нибудь из учителей должны были в большие праздники и под Новый год всю ночь дежурить в школе, и всегда дежурить доставалось безотказному Юрию Петровичу, и он в те ночи часами играл нам на ободранном школьном пианино. С тех пор и стала мне близкой, как бы моей собственной, светлая печаль «Времен года» Чайковского. Чудно играл наш физик, он оживил для многих из нас, впервые слышавших настоящее исполнение (а не хриплое клокотание по радио), дотоле непонятную и мертвую для нашей души классическую музыку.

В группе новых учителей, в большинстве состоявшей из девушек, был еще один мужчина, Виталий Титович Коржиков. Этому человеку я обязан прежде всего тем, что в свое время принял решение пойти на все и стать

писателем. Виталий Титович тогда казался мне настоящим гигантом, Геркулесом. Когда приходилось видеть его в общественной бане, куда ходили мыться все рядовые граждане города, потому как в бараках и горнозаводских многоквартирных домах тогда еще не было ванн, я поражаюсь красоте и мощи его внушительной фигуры. Поистине это был русский богатырь, с необъятными плечами, с выпуклыми полушариями мускулов на волосатой груди, с толстыми, как бревна, ногами и спиной, как скала. Но этот богатырь, кудрявый, синеглазый, с широким улыбочивым ртом, говорил на уроках таким тихим, тонким голосом, столь кротко и смущенно улыбался, что его никто не боялся, и ученики на занятиях откровенно занимались кто чем хотел и разговаривали между собою. Гул стоял на уроках Виталия Титовича, как на вокзале, и услышать его объяснения по литературе было невозможно.

Но он был, оказывается, поэт, настоящий поэт, и у него даже были книжки! Вещь поразительная для меня — я впервые видел живого поэта. На праздничных вечерах в школе Виталий Титович Коржиков читал свои стихи со сцены, но, как и на уроках, тихим, тонким голосом, столь противоречащим его внушительной фигуре, и так же пошумливая и разговаривая публика, и ничего из того, что он декламировал, разобрать было невозможно. А он бормотал себе, глядя синими глазами куда-то в пространство, и даже время от времени делал какие-то выразительные жесты, потрясал сжатым кулаком — наш добрейший Виталий Титович... Впоследствии я читал его книжки — это были добротные стихи о матросской жизни, о мужественной романтике Севера, о любви, о Родине, о мужской дружбе — такие же сдержанные, мужественные и нежные, каким был и сам наш школьный учитель.

Это были молодые люди, старше нас всего лет на семь — десять: Мария Григорьевна Шевырева, математик, Тамара Петровна Вагина, преподавательница русского языка и литературы... И, как я теперь понимаю, это были представители той советской интеллигенции, которая несла в себе все лучшее, что было в нашем многомиллионном обществе. Дети пережившие страшную войну, уже вполне взрослые для того, чтобы осознать все зло сталинского сатанизма, наши молодые учителя и учительницы давали нам то единственное противоядие и ту духовную пищу, которая только и могла спасти для добра наши юные души: знания и культуру России.

В этой великой стране, что бы с нею ни происходило в продолжении XX века, всегда оставалось в запасе огромное наследие отечественной культуры. И это наследие, это богатство не удастся разграбить и

разбазарить никаким политическим бандам, никаким разбойничьим шайкам государственных жуликов. То, что оставили потомкам Пушкин, Лев Толстой и Достоевский, не подлежит ограблению и никогда не перестанет быть ценностью русского народа.

Время было невнятное, мутное. Недавно умер Сталин, расстреляли Берию, главного политического палача режима, — два грузина правили, казнили и миловали на Руси. После них страной стал управлять украинец Хрущев. Он пообещал, что скоро наступит коммунистический рай. Народы стальной империи покорно несли свой повседневный труд. Дети росли, учились в школах, пели патриотические песни.

Заканчивая школу, мы, сахалинские юнцы и девушки, мечтали вырваться за пределы нашего голубого острова, разлететься по Большой земле и там искать свое счастье. Я решил поехать учиться в Москву. Такое смелое решение подсказала мне сама судьба — никто ничего не советовал, заранее я ничего не обдумывал, а просто однажды мне стало совершенно ясно, что я должен отправиться в Москву. И моя мать сразу же согласилась со мной, отец тоже не стал возражать.

А до Москвы было далеко! Никаких близких или родных там не было, и никто из всего нашего корейского рода Кимов никогда там раньше не бывал. Я отправлялся туда самым первым. Москва сияла вдали своими волшебными лучами — о, как манили они меня, как замирало мое сердце!

В Москву!

Мое детство было связано с духами стихий — степей, гор и океанов. Моя юность определилась встречей с Москвой, с которой окажется связанной вся остальная моя жизнь. Есть какая-то магическая притягательность этого города для тех, кто когда-нибудь жил в нем или просто побывал там однажды. Понравилось ли в столице или нет, но даже случайный гость Москвы будет потом долго вспоминать ее с особенным, ни на что другое не похожим, беспокойным чувством. И, вполне возможно, чувство это еще не раз призовет человека в Москву, и он будет стараться приехать туда, словно обещано было ему там какое-то счастье, равного которому нет ничего в мире.

А я прожил в столице более тридцати лет, и за все это время, наполненное для меня ежедневным чудовищным напряжением всех моих сил в борьбе за духовное существование, так и не понял, какое счастье тайно обещала Москва, когда впервые призвала меня к себе в дни моей юности...

Не помню уже, каким образом принималось решение, что после школы я поеду именно в Москву, но вспоминается, как эта поездка совершилась на деле. Началась она с того, что большая группа одноклассников отправилась из Холмска, сахалинского портового города, очередным пароходом до Владивостока, а уж оттуда мы все, выпускники горнозаводской школы 1956 года выпуска, разъехались кто куда.

Во Владивостоке я оказался уже один, без друзей. Впервые провел ночь на вокзале, где народу было так много, что лавки и диваны оказались все заняты, спать пришлось на полу под лестницей.

На другой день я неожиданно встретился со своими учительницами, Марией Григорьевной и Тамарой Петровной, которые тоже собирались ехать в Москву. Оказалось, у них закончился сахалинский контракт и теперь они, окончательно рассчитавшись, возвращались домой. Мне невероятно повезло: я присоединился к ним, и Тамара Петровна тут же решила, что в Москве я останюсь у нее, в ее родительском доме. Мы взяли билеты на поезд и поехали.

От тихоокеанского побережья до Москвы поезд шел тогда 11 суток (теперь идет, говорят, одну неделю), и я, ехавший вторым классом в жестком вагоне, отлежал за это время все бока — потом ребра мои и кости на спине болели, словно от ушибов.

Когда-то, в раннем детстве, мне уже пришлось ехать вместе с родителями по этому же великому транссибирскому пути. Но тогда мы ехали в обратном направлении от Казахстана до Владивостока, и нас везли в товарных вагонах отдельным эшелонем, который довольно часто, бывало, загоняли куда-нибудь в тупик на запасной путь, где и приходилось торчать иногда по несколько суток. А на этот раз огнедышащий паровоз тащил скорый поезд почти безостановочно, днем и ночью, делая редкие остановки-передышки в больших дальневосточных и сибирских городах: в Хабаровске, Барнауле, Красноярске, Новосибирске... И надо было при такой неистовой непрерывной езде катить более десяти суток, чтобы добраться до Москвы... Велика Россия!

Не могу точно сказать, к впечатлениям этой ли поездки в Москву, в зеленой коробочке пассажирского вагона, или к воспоминанию о тягучем переезде из Казахстана на Дальний Восток, в товарных теплушках, относятся картины, встающие сейчас у меня перед глазами. Вот я высовываюсь из окна вагона и, прижмурившись под секущим встречным ветром, смотрю на загибающуюся полукругом головную часть нашего поезда с черным паровозом впереди, над которым возносится пар, смешанный с дымом, ритмичными толчками вырываясь из широкой, как ведро, локомотивной трубы. В такт этим отсекаемым в воздухе рывкам дыма паровоз натужно пыхтит: чух! чух! чух! чух!

А вот я вижу вдаль, на горе, среди нагромождений скал, что-то белое — такую же огромную скалу, как и соседние, но только белую и, если присмотреться, весьма похожую на знакомую усатую голову... Да, это была она — высеченная из цельной скалы гора-голова Сталина, которую выкрасили в белый цвет. Люди, едущие в поездах транссибирской магистрали, должны были видеть ее издали... А сделали ее какие-то заключенные из местных концлагерей. Наверное, творческий замысел возник у одного из них, потом был обсужден с начальством, и оно санкционировало создание этого поистине древнеегипетского монумента. Почему я думаю, что мысль о сотворении колосса пришла в голову заключенному, а не какому-нибудь верноподданническому чиновнику из лагерного начальства? Конечно, я могу и ошибиться, всяко могло быть, но дело в том, что желание непомерно возвеличить образ своего пахана, фараона, императора появляется прежде всего в рабском сознании. Сам император, величественный фараон или вождь народов вряд ли стали бы мелочно интересоваться, сколько метров в высоту займет их изображение. Лукавое чувство торжества и восторга при мысли, что будет создан скульптурный бюст царственного фараона с гору величиной, должно

родиться в душе истинного раба. Не будем ее называть низкой за то, что, несмотря на все мучения, страхи и унижения, которым подвергает хозяин своего раба, тот таит в себе некий немой и ужасный восторг перед образом всемогущего пахана. И порой, захлебываясь собственной кровью, которую пускали ему из носа слуги и палачи тирана, иной заключенный оказывался способным любить его и даже умереть, выкликивая при расстреле имя усатого фараона.

Так бывало, об этом рассказано в разных книгах о России того странного периода, когда я появился на свет... Какая-то жутковато-величественная тайна содержится во всей этой чертовщине. А в том году, когда я, уже закончив школу, семнадцатилетним парнем ехал в столицу учиться, этой зловещей тайной преисполнилась вся громадная страна. И Сибирь, через которую

вез меня паровоз
в звонком стуке колес,
в черном ливне мелькающих шпал, —

огромный каторжный край был особенно густо насыщен этим духом непонятной покорности, немого восторга рабов пред своим господином... Ничего себе! Каторжники, которых загнал за колючую проволоку товарищ Сталин, делают из каменной горы его усатую голову, издали действительно имеющую грубое сходство с «родным и любимым», как пелось в песнях.

С тех пор прошло очень много лет. Ни тех паровозов уже звонкоголосых, ни надежд моей юности, ни фараонов далеких и даже самого царства фараонова нет. Все это ушло в прошлое, не сбылось, развалилось. Думаю, что и гигантский бюст вождя народов тоже не остался — могли взорвать при власти других вождей... Но тайна, тайна народа осталась! Она заключается в том, что он почему-то не может благополучно существовать сам по себе, без всяких пришлых князей — варягов, грузин и прочих. Смотрите, как он сейчас, в эти дни, тоскует по сильной руке над собою и, словно в каком-то отчаянии, ищет нового вождя!

Но пора вернуться к Москве времен моей молодости. Я приехал туда с благим желанием поступить учиться в Художественную академию. В своей сахалинской школе я уже слыл «художником», то есть рисовал в стенгазете и оформлял рукописный литературный журнал, главным редактором которого, кстати, и являлся. Кроме этого, я написал масляными красками портрет кудрявого рыжего друга, Коли Волосатова, портрет сестренки,

несколько маленьких этюдов с натуры (море, одно лишь море и сопки!) — все это было показано на областной выставке детского творчества, и мне присудили первую премию. Пожалуй, эта премия и решила мой выбор — я захотел всерьез учиться живописи.

К тому же в школе я начал писать стихи и сочинять прозу — все это под руководством Виталия Титовича и Тамары Петровны, наших «литераторов», — и преуспел, учителя хвалили (отсюда и редакторство рукописного журнала, выпускаемого в двух экземплярах — с банальным названием «Юность»). Сочинения мои зачитывали вслух в классе — для примера, а стихи даже хотели напечатать в нашей районной газете...

Однажды зимой пришел в школу некий невнятный, молчаливый человек с какими-то пустыми, светлыми, безумными глазами. Меня позвали со школьного двора, где мы, старшеклассники, убирали снег, в учительскую. Там меня и представила Тамара Петровна этому молчаливому человеку. Он крутил в руках экземпляр нашей классной «Юности» — это оказался мой коллега, главный редактор районной газеты. Он заявил, что готов опубликовать в газете некоторые стихи, в том числе и мои. Я ответил ему, что не возражаю, пусть напечатает, но только мои стихи печатать не нужно. Он поднял на меня свои пустые сумасшедшие глаза, отдаленно выразившие удивление. Видимо, редактор не знал, что и подумать... Откровенно говоря, я и сам не понял, почему отказался от возможности первой в жизни публикации. Может быть, Тот, Кто ведет меня по жизни, уже замыслил тогда, что я буду писателем, и не захотел гасить мой писательский дух соблазном легкого напечатания. Нет, я должен был годами и годами желать этого — как юноша любви, как узник освобождения, как больной исцеления. Мучениями и отчаянием души заплатить за это великое счастье — быть напечатанным...

Итак, уже не колеблясь и ни в чем не сомневаясь, я приехал в Москву, чтобы выучиться и непременно стать художником, таким, как Рембрандт, например («Портрет старушки»), или Джорджоне («Спящая Венера») — репродукции этих картин мне доводилось видеть на цветных вкладышах в Большой Советской Энциклопедии, которую отец выписал — от «А» и до «Я». Признаться, меня манила жизнь гениального художника: я уже читал роман про испанского гения, «Гойю» Эмиля Золя. И мне хотелось, честно говоря, чтобы меня так же полюбила какая-нибудь выдающаяся красавица, вроде герцогини Альбы.

Да вот не вышло пока. Конечно, теперь я понимаю, что всегда, всю жизнь был баловнем судьбы. В моей жизни все происходило так, чтобы я наилучшим образом подготавливался стать серьезным писателем. То есть

таким писателем, который знает изнанку жизни, а не просто одну ее радужную поверхность. И для того, чтобы я обрел необходимые знания, судьба всегда пристраивала меня в такие школы жизни, где я мог изучать причину сокрушительного поражения, постигающего каждого человека, будь он безвольным пловцом, барахтающимся безо всякой жизненной цели или, наоборот, неистово устремляющимся к какой-нибудь бредовой пустоте. Словом, я прошел школу самого темного дна жизни — и самых холодных, прозрачных ее вершин. И этот путь познания начинался у меня в Москве.

Я не поступил в Суриковский институт — самоучку-дилетанта, представившего в приемную комиссию слабые любительские работы, не пустили и на порог этого высшего учебного художественного заведения. Мало того — я провалился на экзаменах по рисунку и в художественное училище, куда направили меня из комиссии института благодаря хлопотам Тамары Петровны.

Я жил у нее по прибытии в Москву — в пригородном поселке на станции Загорянка, где находился дом родителей моей учительницы — замечательный дом из ровных больших бревен, с просторной верандой, с помещением на жарком чердаке, где пахло смолой, сухой пылью и ржавчиной каленого железа кровли. На этом чердаке я готовился к приемным экзаменам в училище, писал маслом натюрморты: грибы, кувшины, бутылки... И, спрятавшись на этом чердаке, я пережил минуты самого черного отчаяния, стыда, ожесточения, когда впервые почувствовал Того, Кто вел меня по жизни, — и Он повел меня вовсе не туда, куда мне хотелось. С того дня, видимо, так оно и продолжалось: я оголтело устремлялся в жизни не туда, куда мне следовало, и бунтовал против Того, Кто был мне руководителем. И чем этот бунт может кончиться для меня?

В доме моей доброй учительницы, которая была старше меня всего-то лет на семь (Боже мой, ведь в таком случае ей уже, наверное, за шестьдесят...), я узнал много для себя нового. Например, чтобы съесть кильку, вовсе не нужно выпускать ей кишки и, тарахтя вилкой и ножом по тарелке, еще и пытаться при этом отрезать несчастной рыбешке голову.

Нельзя было без разрешения брать из книжного шкафчика книги, хотя они и были такие замечательные и интересные: «Айвенго», например, Вальтера Скотта, «Кашеева цепь» Пришвина, «Новеллы» Проспера Мериме... Я был совершенно неотесанным сахалинским парнем, которому невдомек, что у книги есть владелец, что надо прежде спрашивать у него позволения взять почитать ее, если даже она и лежит на полке шкафчика в той же комнате, где ты сейчас проживаешь.

Ни в коем случае нельзя было включать без спроса телевизор, если хозяева сами не смотрели его, — я тогда впервые в жизни увидел «живой» телевизор: на Сахалине, в шахтерском городке, телевизоров еще ни у кого не было. У моих же подмосковных хозяев, людей хотя и не высшего, но достаточно высокого советского класса, он был: с экраном величиною с записную книжку, перед которым на подставке пристраивалась большая пустотелая выпуклая линза, куда наливалась вода.

Перенимать новые культурные навыки и избавляться от дурных, некультурных, помогал мне один человек, которого моя учительница подомашнему называла дядей Витей (или дядей Митей?), — это был брат хозяйки дома, матери Тамары Петровны. Тщедушный и маленький человечек, ростом даже меньше меня, со скошенными к переносице глазами, с зачесанными на лысину жиденькими волосами, этот дядя Витя-Митя обладал, однако, рокошущим низким голосом и имел обыкновение разговаривать самым решительным, грозным, без-апелляционным тоном. Можно было оробеть перед ним, только слушая его голос, но все впечатление портили эти косые глаза и совершенно пустой рот, в котором торчал всего один желтый зуб, да и тот заметно пошатывался при разговоре. Ему, наверное, было лет шестьдесят, он был пенсионером, Тамара Петровна как-то сказала мне, что дядя Митя-Витя алкоголик, и вообще в доме моей учительницы все относились к нему не очень-то серьезно. Однако на меня он произвел большое впечатление, и не только тем, что знал, как надо правильно есть кильку, буженину, осетрину и все непривычные для меня деликатесы, но главным образом жутковатыми рассказами из своего воинственного прошлого. Он когда-то, по его словам, служил крупным чином «в органах».

— Был у меня подчиненный, эстонец Мага, — рассказывал он мне, округлив скошенные к переносью глаза, — так он занимался только тем, что расстреливал на Лубянке этих самых дармоедов, которых приговаривали к смер-р-рти... У Маги был свой, специальный, маузер-р-р, — рыча, грозно оттопыривая нижнюю губу, рассказывал дядя Витя-Митя. — Ему в глаза невозможно было смотреть, такие они были у него стр-р-рашные.

И я тоже, будучи впечатлительным юношей, начинал испытывать страх перед сатанинским взором этого Маги. Но, заметив во рту бывшего офицера органов шатавшийся зуб, я невольно проникался беспокойством, как бы он тут же не выпал на тарелку, где лежали останки килек, что и выводило меня из страха. Это были новые для меня люди: жители столицы, обитатели той срединной устоявшейся советской жизни, которая взошла,

как я теперь понимаю, к вершинам своего благополучия — высшей стадии коммунистического империализма. Моя романтическая, мягкая, сверкающая лазурью дальневосточная юность навсегда осталась позади. Я начинал новую жизнь. Отец моей учительницы, какой-то крупный начальник, помог мне устроиться на работу, и вскоре я переехал в общежитие строительных рабочих.

В Москве-1

Москва второй половины пятидесятых годов завершала созидание своего облика имперского супергорода, мирового оплота социализма. Только что были отстроены высотные дома, так называемые «сталинские небоскребы», и здание Московского государственного университета на Ленинских горах — величественные розовато-серые гиганты, упирающиеся острыми тонкими шпилями в самое небо. Завершалось строительство огромного спортивного комплекса в Лужниках с Центральным стадионом на сто пятьдесят тысяч зрительских мест. Были возведены новые многоэтажные районы, равные небольшим городам, — вдоль Москвы-реки на Фрунзенской набережной и на юго-западе, в Черемушках. Начиналась тогда и застройка жилыми кварталами многочисленных окраин столицы, которые впоследствии по общей площади намного превысили размеры старой Москвы.

Прошло чуть больше десяти лет после окончания Великой Отечественной войны, и отстоявшая себя, укрепившаяся и невероятно повысившая мировой политический престиж империя Советов желала продемонстрировать свое величие новым обликом древней столицы. Москва пятидесятых-шестидесятых годов стала Москвой строительной, и таковой она осталась еще на многие годы...

Идеей и пафосом грандиозных строек было охвачено все государство: именно в те годы началась строительная гигантомания в стране. Возводились колоссальные гидроэлектростанции на Волге и на сибирских реках: Сталинградская, Братская, Красноярская. Прокладывались большие каналы в Средней Азии. Тогда и родилось захватывающее воображение название: «стройка коммунизма» или же — «стройка века». Так вот, строительство новой Москвы с ее сталинскими небоскребами и громадными микрорайонами тоже относилось непосредственно к «стройкам века».

Этот процесс строительной экспансии Москвы происходил на фоне широкой миграции сельских жителей в города, особенно сильной в те годы. Тогда только что стали выдавать колхозникам общегражданские паспорта и разрешили жить где хочется, а не только в своем родном колхозе, где почти ничего не платили за работу... И вышло так, что большую часть новоявленных московских строителей составили недавние жители деревень, народ, привычный к тяжелому физическому труду. И очень

быстро вчерашний крестьянин из-под Тамбова или Пензы становился в Москве каменщиком, штукатуром, бетонщиком, маляром.

Как правило, лимитчики поселялись в общежитиях, принадлежавших строительным организациям, получали там в общей многоместной комнате свое койко-место: кровать с постельными принадлежностями и индивидуальную фанерную тумбочку. В комнате, куда меня вселили, моими соседями по койке были парни разной национальности — поистине «семья братских народов». Там были татарин Витька Бигбулатов, украинец Петро Черевко, чуваш Игорь, русский мужик Мишка со своей женой Нюрой...

В той же комнате обрел я соседство и затем дружбу на долгие годы с Валерием Костионовым, который был постарше и впоследствии, когда я уже давно покинул общежитие и шел своим путем, пробиваясь в литературу, во многом помогал, поддерживал меня... Он вскоре женился и переехал к жене. Но поскольку невеста оказалась тоже «лимитчицей», то и жить им пришлось в общежитии, притом женском, и жизненное пространство было точно таким же, как и прежде: казенное койко-место жены. И у Валерия московская домашняя жизнь началась в какой-то большой, похожей на больничную палату женской казарме. Правда, их кровать, находившаяся где-то посередине этой неудобной комнаты, была со всех сторон выгорожена ситцевыми занавесками, за которыми и принимали меня, дорогого гостя, мои добрые друзья...

В одном из подобных «классических» общежитий поселился и я, устроившись работать в тресте Мосстрой-2. Никакой строительной специальности я, разумеется, не имел, и меня взяли в качестве разнорабочего. Мне еще не исполнилось 18 лет, поэтому рабочий день мой по закону был шесть часов. Общежитие находилось в пригороде Москвы, в поселке Кокошкино, куда надо было добираться минут сорок на электричке. Жил я в четырехместной комнате в двухэтажном бараке с длинными коридорами, в самом конце которых находились умывальные комнаты и общие кухни...

Моя пролетарская жизнь началась осенью, когда уже рано темнело, а утренний свет наступал поздно. Около шести утра громкий звон будильника поднимал меня и моих соседей по койкам, и я, поспешно сбегав на двор в классическую деревянную будку, а затем в умывалке поплескав холодной воды на лицо, приносил с кухни чайник с кипятком и «пил чай» — обжигаясь, глотал горячую воду с сахаром и съедал при этом кусок серого батона. Все эти процедуры занимали минут двадцать после подъема, потом я одевался и выскакивал на темную еще улицу.

Там уже шаркали по асфальту сотни пролетарских ног, ото всех общежитских казарм тянулись темными цепочками косяки строителей новой Москвы, и утренние колонны молчаливых трудяг стекались к платформе железной дороги, где и скапливались в неподвижной молчаливой толпе, ждущей очередную электричку. Подходила, тонко посвистывая, электричка, останавливалась, и в тесной давке трудовой массы, устремленной к великим свершениям, я оказывался втянут в вагон поезда. Места там бывали все заняты, но, привыкнув со временем не завидовать сидящим, я почти не замечал их и сорок минут езды до Москвы мог продремать стоя, стиснутый со всех сторон народом, уткнувшись лбом в чью-нибудь спину.

В Москве, на Киевском вокзале, надо было бежать и нырять в метро, и снова брать штурмом вагон, барахтаться в потоках и водоворотах целеустремленной толпы — великой толпы трудового народа. Утренняя, семичасовая, в полном молчании движущаяся масса московских трудящихся, в основном рабочих, чьи смены начинались обычно в восемь часов, — это внушительное, захватывающее зрелище. Мое сердце начинало трепетать, как воробышек, когда я вдруг постигал всю безмерную мощь и живую мускульную силу этого всеобщего устремления. Очевидно, я нешуточно испытывал тогда волнение, называемое чувством единения с народом.

Потом я входил вместе с другими через широко распахнутые ворота на территорию стройки, шел к раздевалке своей бригады, где уже копошились рабочие, переодеваясь, разбирая испачканные в растворе спецовки и комбинезоны. Начинал переодеваться и я, торопясь и вздрагивая от холода, и тут уж покидало меня торжественное чувство единения с народом, испытанное совсем недавно. Густая известковая пыль поднималась над грязной рабочей одеждой, когда ее встряхивали, чтобы надеть. Тяжелый мат, уснащающий всякое речение, звучал слышнее всего среди будничных утренних разговоров строительных работяг... Мускулист, груб и слишком циничен, даже весело-похабен был этот строительный пролетариат — и уже никакого чувства слияния с ним не оставалось в моей душе.

В сущности, мои смутные первые вдохновения по тому поводу, что я ощущаю себя частью великого трудового народа, как раз явились выражением чего-то совершенно противоположного. И на работе, и в общежитии строителей в Кокошкине я как был с самого начала одинокой, отчужденной фигурой, так и оставался ею до конца пребывания там. В комплексной бригаде Бешменева, куда меня определили, были высокоразрядные плотники и каменщики, я же ничего не умел делать и

плохо управлялся даже с простейшим инструментом — совковой лопатой.

В самый первый день я пришел на работу в своем парадном коричневом костюме, не зная даже, что мне положено получить рабочую одежду. Бригадир Бешменев, маленький, шустрый, худощавый человек, чем-то похожий на моего отца, только вздохнул, внимательно посмотрев на меня черными татарскими глазами. Он снял со своих плеч и надел на меня брезентовую спецовку, а потом послал вместе с каменщицей Катей в подвал, где я должен был помогать ей замазывать цементным раствором какие-то дыры в стене.

В дальнейшем бригадир определил меня подручным плотника к дяде Феде, пожилому добрейшему пьянице, который, показалось мне, почти не умел разговаривать. Вместо этого он что-то невразумительно мычал, хрипел, кашлял и смачно плевался, при этом сопровождая взглядом красных глаз далекий полет своего плевка. Объяснять мне что-нибудь или приказывать он не считал нужным — просто кивал головою и произносил: «Слышь-ка, Кима...» И я должен был сам догадаться, что делать: придержать ли за конец доску, которую он собирался перепилить, или принести бревнышко с другого этажа стройки... Если же я не догадывался, то плотник и без моей помощи преспокойно отпиливал доску. А однажды, когда понадобился столбик и я слишком долго ходил за ним, потому что по рассеянности, задумавшись о чем-то, протащил его на плече двумя этажами ниже и вынужден был потом возвращаться наверх, дядя Федя успел сам принести откуда-то столбушек и установить его на площадке. Увидев меня, согбенного под грузом, он ничего не выразил на своем красном морщинистом лице, только откашлялся, сплюнул и молвил кротко: «Брось, Кима, слышь-ка... Сядь покури...»

В зимние холода на этажах, в неотделанных еще квартирах, мы с дядей Федей жгли костры, чтобы погреться возле огня. На месте кострищ всегда оставались недогоревшие палки и куски древесного угля — это был превосходный материал для рисования. А серые бетонные стены или гипсовые перегородки, еще не оштукатуренные, оказались замечательными плоскостями для настенных рисунков. И вот в обеденные перерывы, быстренько наведавшись в столовую, я стал сразу же возвращаться на этажи и рисовать. Я сильно стосковался по рисованию, которым не занимался с тех пор, как провалился на экзаменах в художественное училище. Неожиданное и столь необычное возвращение к любимому занятию взволновало меня, и я со страстью принялся мазать черным углем по серым стенам. Рисовать я стал почему-то одни лишь головки прекрасных девушек — и это были недурные рисунки, может быть, что-то

в духе женских образов прерафаэлитов. Дядя Федя, приходя после обеденного перерыва, молча вылупливал красные глаза на настенный рисунок и ничего не говорил по своему обыкновению, а только отхаркивался и плевался. Но, уважая мое мастерство, наверное, старый плотник посылал плевков не в направлении рисунка, а чуть в сторону от него...

Моя работа заканчивалась на два часа раньше, чем у взрослых рабочих, и, переодевшись в раздевалке, я в одиночестве уходил со стройки и то гулял по Москве, знакомясь с древней русской столицей, то шел в кино, но чаще всего ехал в Библиотеку имени Ленина, брал там в публичном зале всякие интересные книги и читал допоздна.

В те годы это было возможно и вполне доступно — любому желающему, имеющему прописку в Москве, записаться в общий читальный зал. Туда в основном ходили заниматься студенты, но бывали в Ленинке, как я постепенно приметил, и какие-то постоянные читатели разного возраста и причудливого облика. Как оказалось, это был особый разряд московских библиотечных философов, книжников и мудрецов, которые большую часть своей жизни проводили именно в этой библиотеке. Завсегдатаи публичного зала хорошо знали самых выдающихся библиоманов и любили послушать их традиционные философские диспуты. Они происходили, как правило, в курительной комнате перед туалетом, и могли длиться часами...

В Москве-2

Не знаю, когда родилась известная крылатая фраза: «Москва слезам не верит», но полагаю, что это произошло все же не в нашем благословенном, быстро разменивающим последние свои годы двадцатом веке. Был создан кинофильм под таким названием, который стал знаменитым и обошел экраны всего мира, в этой кинокартине рассказывалось о судьбе московских «лимитчиков» — разумеется, с благополучным концом и с полным торжеством справедливости и человечности. Моя персональная московская история в чем-то сходна, конечно, с известной киноверсией, однако мне хотелось бы показать то, что в вышеназванную картину не вошло и что дает мне основание сделать вовсе иные выводы, чем в популярном фильме.

Так что «сценарий», который я теперь разрабатываю, можно назвать и по-другому — и опять-таки по крылатому народному выражению: «Москва бьет с носка». О том, в какое время родилась эта фраза, звучащая почти каламбуром, я тоже не берусь судить, хотя мне что-то подсказывает, что это все же старинное выражение... И если в первой поговорке есть «слеза» и звучит некая обидчивая чувствительность, то во второй явно прослушивается торжествующая констатация предельной жесткости столичных нравов, когда «бьют» ногой всякого, кто падет в жизненной борьбе.

Расскажу о том, как впервые в Москве я начал постигать на собственном опыте главный конфликт человека и окружающего мира в нашем веке — а может быть, и во всех веках этой второй истории человечества (первая была, говорят, до Ноева потопа) — давление мира на человеческую отдельность, отчуждение личности, полное безразличие к ней со стороны тотальных структур, их бездушие по отношению к отдельному человеку...

Москва всегда предоставляла и предоставляет до сих пор прекрасные возможности для познания и усвоения на практике темной науки человеческого отчуждения.

Москва — очень жесткий, тяжелый для души город. Но коренной москвич гордится своим происхождением, и в характере московского жителя есть некое чувство превосходства над всеми остальными людьми на свете. Возможно, подобное самомнение свойственно вообще жителям всех мировых столиц, колоссальных супергородов, где скапливается огромное

количество людей, которые больше потребляют, чем производят жизненных благ, и, чтобы жить так, надо создать некие особенные системы общественного существования. Москва и создавала и постоянно совершенствовала подобные системы, а москвичи быстрее других приспособивались к ним — это и давало пищу для их самоуверенности и чувства собственного превосходства.

Москва — это не только столица бывшей советской империи и нынешней Российской Федерации, Москва — это отдельное государство в государстве. И москвичи — особенный народ, искусственная нация, подобная американской, состоящей из сотен различных по крови и цвету кожи национальностей. Однако, подобно тому, как американцы восточной части отличаются от жителей американского Запада, а жители Севера — от аборигенов Юга, в московском народе тоже наличествуют весьма различные ментальные течения.

Только разделяются они здесь не фактором географии, по горизонтали, но прежде всего принадлежностью к тем или иным уровням социального бытования — по вертикали. А вертикаль эта определяет принадлежность каждого к своему уровню уже по фактору потребления.

В московской нации, к примеру, было самое большое количество генералов, адмиралов, маршалов — ни в одном народе мира не имелось такого высокого процента генералов на душу населения. То же самое можно сказать и о высших иерархиях науки и культуры. Нигде в мире не было такой многочисленной касты академиков, получивших высшие пожизненные привилегии и пайки, и высокопоставленных писателей, лауреатов главных государственных премий, как в столице. Генеральские и писательские дачи, дачи академиков — с гектарными участками огражденного высокими заборами леса — окружали самые живописные подступы к столице.

Но среди людей московской национальности наивысшее положение занимали все же не генералы, не академики, не лауреаты Ленинской и Государственной премий, а социальный слой, носивший в народе довольно неудобовыговариваемое название: цэкашники. Этот слой московской нации существовал в самоизоляции от остального народа — они имели свои территории для проживания и деятельности, свой ареал для получения пропитания, всегда закрытый для доступа тех, кто не из системы ЦК. И распределители земных благ для цэкашников были расположены в самых таинственных местах.

К этому скрытому потоку распределения благ и средств потребления примыкали и мощные колонны высших государственных чиновников

Совмина и всяческих министерств, главков, управлений, то есть главных всесоюзных ведомств по отраслям. И так далее, и тому подобное... Невозможно досконально изучить и перечислить все существовавшие легально и другие, засекреченные, системы социального обеспечения московского народа в его высших элитных и полуэлитных структурах. Но, что бы там ни было, простой люд Москвы многое видел, чувствовал, о многом догадывался, и каждый на своем уровне старался как-нибудь повыгодней приспособиться к существующей системе государственного распределения материальных благ.

Если невозможно было приспособиться к выгодным структурам или были недостаточными, по мнению субъекта этой структуры, получаемые им блага, он мог брать их самовольно, то есть воровать. Где и кто только не воровал в Москве и по всей стране! Но это не называлось воровством. Появилось знаменитое слово «несун», которое по своему тончайшему стилистическому значению не имело ничего общего с понятиями кражи, воровства. Несун выносил за ворота фабрики, завода, любого другого государственного предприятия все то, что ему было нужно, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. Несун считал, что он берет у государства, которому принадлежит завод или фабрика, небольшую часть того, что оно задолжало ему, недоплатив за его работу. И здесь соображение, хорошо ли ты работал или плохо, не имело значения. Несун видел в своей повседневной жизни огромное число сограждан, которые ловко приспособились где-нибудь «наверху», работали ничуть не больше его, а получали благ от государства и потребляли в тысячу раз больше. Чего только не несли! Колбасу, мясо, печенку, окорока — с мясокомбината. Масло, изюм, сахар, муку, яйца — из пекарни. Краски, олифу, алебастр, гвозди, паклю, клей, цемент, доски — со стройки. Белье, пуговицы, нитки, иголки, наперстки, куски тканей — из ателье и со швейных фабрик. Медь, алюминий, бронзу, вольфрам, никель и другие редкие металлы и изделия из них — с заводов. Радиодетали, детали телевизоров, запчасти автомобилей, бензин и солярку, масла смазочные, лаки, ацетон... Картошку, капусту, морковь, огурцы и всякие другие овощи... Шоколад, кофе, конфеты, лекарства, пластинки, часовые механизмы, канцелярские скрепки, школьные тетради, книги, боевые пистолеты, боеприпасы, солдатские сапоги... Всего не перечислить: все, из чего производилось и что производилось на государственных предприятиях, что лежало на складах и в хранилищах, выносилось за ворота несунами.

В государстве создался грандиозный заговор воровства, воровали на всех уровнях — сверху и донизу. Наверху «несли» роскошные квартиры,

автомобили, дачи и дачные участки, строительные материалы для них, высшее образование для своих детей, валютные лицензии на сафари в африканских странах. Курорты, лечение в сказочно оборудованных больницах... И для всего этого надо было создавать и всемерно укреплять хорошо налаженную систему тотального воровства. И самая лучшая, ни с чем не шедшая в сравнение система была создана в Москве. Здесь всем захребетникам и бюрократам было так удобно и столь хорошо, что можно было сказать — для них-то уже создано идеальное общество. Вот уж действительно получилось по Гоголю: мошенник сидел на мошеннике и погонял мошенником!

Осознание этой реальной действительности произошло с годами, постепенно. А в те годы, когда я только появился в Москве и начал свою самостоятельную жизнь, я еще ничего не понимал, тыкался носом в разные темные углы, набивал себе шишки и болезненно переживал по разным поводам, не имевшим лично ко мне никакого отношения или же являвшимся результатом всеобщего неблагополучия. То есть начались мои первые столкновения с реально существующей системой нашего советского бытия.

Однажды на работе произошел такой случай. В субботу, когда у всех был укороченный рабочий день и я заканчивал вместе с остальными, сменный мастер Вера к самому завершению смены приказала мне выбросить в снег полную бадью свежего цементного раствора. Дело было в том, что заказанный раствор привезли поздно, незадолго до конца работы, и поэтому его не успели использовать. Оставлять же разведенный цемент на выходной день было нельзя, ибо он застыл бы и превратился в окаменевшую глыбу. Вот и повелела мне мастер Вера освободить огромную бадью и выбросить в снежный сугроб, наметанный во дворе стройки недавним бураном, почти два самосвала отличного бетонного раствора... Когда я отказался это приказание выполнить, как же презрительно смотрела на меня покрасневшая, сердитая, пухлая, некрасивая наша «мастерица», сама чуть постарше меня, и с каким недоумением взирали на меня мои коллеги из бригады!

Я еще не понимал того, что понимали они. Выбрасывать в снег добро нельзя было, разумеется, но выбросить государственное добро можно. Я еще был слишком молод и неопытен в жизни, чтобы осознавать свое положение как положение раба государства. Оно было полным хозяином над каждым рабочим-рабом, а раб, как известно, не бережет имущества своего хозяина. Если рабу ничто не грозит, то он даже потихоньку портит, уничтожает — или ворует — добро хозяина.

Нет, во мне еще слишком много было внутренней свободы, чистоты и природной честности по отношению к жизни. Мне было совестно делать заведомо нехорошее дело. В дальнейшем не раз возникнут ситуации, когда жизнь будет заставлять меня делать не по совести. И, может быть, не всегда мне удавалось вовремя разобраться, устоять и не оступиться. Но, что бы то ни было, ненависть и отвращение к бессовестному существованию и презрение ко всему, что заставляло человека поступать не так, как подсказывает ему изначальная совесть, стали во мне вполне осознанными основными позициями нравственности. Точно так же, как и у очень многих моих современников в нашей стране... Поэтому они и не поддержали режим, систему лжи, когда она зашаталась и рухнула.

На первых шагах в Москве я, маленький, легко краснеющий корейский паренек с Сахалина, дитя природы и любитель читать книги, не мог ничего понять в тех странных картинах трудной и некрасивой жизни, в которую я был брошен невидимой решительной рукой судьбы. Я лишь грустил иногда и думал, что мне просто не повезло и поэтому я попал не на тот участок жизни, где все хорошо, правильно, интересно, а на худший, где все так некрасиво, грубо и примитивно.

Я уже рассказывал, как рисовал угольными палочками на еще не оштукатуренных стенах будущих квартир женские головки, идеализированные и романтизированные образы в духе прерафаэлитов... И вот однажды перед началом рабочей смены мастер Вера, непонятно улыбаясь и отводя в сторону глаза, велела мне идти в контору строительного участка: вызывает, мол, сам начальник. Я был удивлен. Мне никогда еще не приходилось встречаться с ним и разговаривать. Это был еще нестарый человек, лысеющий блондин, высокого роста, в костюме и при галстуке. Точно так же, как и мастер Вера, отводя и пряча глаза, начальник спросил у меня: не я ли разрисовал стены? Потупившись, чувствуя, что отчего-то краснею, ответил, что да, это я рисовал... И тогда уже строго, почти сердито, начальник приказал: «Все это безобразие немедленно стереть! И больше чтобы этого не было. Понятно?»

Ничего не понимая, я отправился в корпус и по пути размышлял: может быть, начальнику не понравились рисунки или по каким-то инструкциям на стенах стройки запрещено рисовать?.. Но, когда я пришел в корпус, мне все стало ясно.

Каждый мой настенный рисунок был старательно продолжен кем-то. И этот «соавтор» работал в стиле примитивизма, но того самого, который прочно утвердился на стенах общественных сортиров. К хорошеньким головкам моих «прерафаэлиток» были пририсованы тем же черным углем

похабные и уродливые женские тела. Свесив совершенно чудовищные сиськи и растопырив хилые рахитичные ножки, эти сортирные мадонны — особенно жуткие в своей порнографической выразительности из-за того, что лица у них были прекрасными, — демонстрировали свои утрированные, как на африканских скульптурах, мрачные половые органы. Таким образом мои старательные рисунки были изнасилованы и убиты, и тот злодей, чья рука поднялась на подобное дело, был скрыт в массе невидимого люда, имя которому — легион.

В общежитии строительных рабочих, где я прожил год, красоты тоже было маловато. Там вечерами после работы, в выходные дни или по праздникам мужики напивались, и тогда вспыхивали яростные, буйные драки... Помню самый первый день своего появления в общежитии. Я вселился в комнату о четырех койках уже к вечеру, там никого не было, люди еще не вернулись с работы, и, подавленный какой-то смутной тоской, я улегся на свою койку в темноте раннего осеннего вечера, даже не зажигая электрического света. Вдруг за дверью в коридоре раздались какие-то свирепые мужские голоса, топот ног, звуки тяжелой возни — дверь с треском распахнулась, и в комнату пал, спиной и затылком на пол, какой-то голый по пояс человек. Удар его тела о доски пола был столь полновесным и тяжким, что он, оглушенный, лежал несколько секунд на спине, едва ворочаясь. Но довольно быстро ожил, с внезапной резвостью вскочил на ноги и, грозно рыча, словно медведь, вновь выметнулся назад в коридор. Тогда я поднялся с койки и, прошлепав босыми ногами до двери, прикрыл ее и запер изнутри на защелку.

Вечерами холостая молодежь общежития порой устраивала танцы под радиолу, и это происходило зимою в обшарпанном вестибюле на первом этаже, а летом во дворе, на асфальтированном пяточке. Парни и девушки танцевали парами, обнявшись. Я тоже иногда танцевал, осмелившись пригласить какую-нибудь пахнущую дешевым одеколоном партнершу, но чаще всего стоял где-нибудь в сторонке и любовался издали.

Очень во многом наша жизнь общежитская была натуральной, как у диких племен, без особых правил морали. Но тогда получить возможность и для такого малоцивилизованного существования было, оказывается, не очень-то просто. Когда я прожил таким образом почти месяц, выяснилось, что местная милиция отказала мне в прописке. Я был принят на работу по протекции отца моей учительницы, меня устраивал в общежитие сам заместитель начальника треста Мотов, которому я лично передал рекомендательное письмо... Но я шел одиночкой, а не по линии организованного набора рабочей силы, и милиция сочла невозможным дать

мне временную прописку. Я вновь поехал к Мотову, и он, седовато-серый, как матерый волк, чиновник с лысиною, сказал мне, потирая, по своему обыкновению, утомленные глаза рукою, что со своей стороны сделал все, о чем просил N.N. (отец моей учительницы), а в отношении милиции и прописки в паспорте он ничем помочь не может. И Мотов посоветовал мне обратиться в Главный паспортный стол Московской области.

Часть вторая

Начало

В августе 1963 года я ехал ночным поездом из Ростова-на-Дону в Москву. За оконным стеклом покачивалась громадная мгла, позади осталась тысяча дней службы в армии. Впереди ожидали другие тысячи дней жизни, которые я уже знал как потратить. Единственным, ради чего стоило жить, было писательское дело, все остальное стало для меня непривлекательным, чуждым и безразличным. В вагоне было темно, кондуктор уже выключил свет, пассажиры давно спали, забравшись на полки, лишь я один бодрствовал, сидя за боковым столиком, и сон бежал от глаз моих. Мне было так печально, как никогда раньше, и бесконечная мгла ночи баюкала эту печаль. Да, да — все дело было в том, что в той ночи, через которую я ехал, и в том завтрашнем дне, куда я устремлялся, мне не было места. Никто меня не ждал — вернее, я сам ни с кем не жаждал встречи. В двадцать четыре года я был как вырванное с корнями из земли молодое дерево. Порвались все мои связи с жизнью.

В полутемном проходе показался темный силуэт какой-то женщины. Она подошла ко мне, присела напротив и спросила, чего это я не сплю, о чем горюю, сидя тут один, куда еду и зачем. Тут неожиданно для себя я заговорил — торопясь и волнуясь, ничуть не заботясь о том, поймут меня или нет: о пропащей своей молодости, об утерянной радости жизни, о тошном своем нежелании возвращаться туда, где нужно заниматься такими же делами, как и все вокруг.

Помню, эта пожилая женщина с каким-то молодым жаром, взволнованно и задушевно стала возражать мне...

— Радуйся, — говорила она, — что все кончилось! Ты же домой едешь! Кто-нибудь тебя ждет, кто-нибудь встретит, поди.

— Никто не встретит, — отмахнулся я от нее.

— Не может быть! Ты вон, солдатик, какой хорошенький, — затараторила она, — тебя небось какая-нибудь девушка ждет! Обязательно ждет, а как же!

— Ну, может быть, одна и ждет... — нехотя обмолвился я.

— А ты сообщил ей, что едешь?

— Нет.

— Почему же?

— Не хочу...

— Ты дай мне адресок. Мне на следующей станции сходить, вот я и

отправляю телеграмму.

— Не надо, — отказался я. — Если бы хотел, сам сообщил бы из Ростова... — Ну все равно, черкани мне на бумажке адресок. Давай, солдатик! — не отступалась женщина. — Уже поздно, почта, поди, не работает, так что телеграмму вряд ли удастся отправить... Это я так, на всякий случай прошу... Ну что тебе стоит? Черкани только адрес и фамилию с именем — и больше от тебя ничего не требуется...

Настойчивость незнакомки была странной, необъяснимой. Но и отказывать ей в ее просьбе было бы странно... И я не стал больше упираться, вынул блокнотик, в котором обычно записывал стихи, на чистой странице «черкнул адресок», написал имя и фамилию девушки.

Вот так и случилось, что на следующее утро эта девушка встретила меня на Казанском вокзале — и вскоре, через месяц, стала моей женой.

Моя новая «философия жизни» не допускала возможности брака и семейного счастья. Я хотел писать стихи и прозу и уже предчувствовал, что это никому не будет нужно, никому, кроме меня одного. При таких обстоятельствах, готовясь к суровому и, может быть, мучительному отшельничеству безвестного поэта, я даже и в мыслях не мог позволить себе удела тихого семейного счастья.

Но, как и всегда, воля судьбы оказалась сильнее моей собственной. Пугающий меня, тревожный брак мой состоялся... Та незнакомая женщина в вагоне ночного поезда — какая все же это была посланница? Союзница ли моего жизненного проекта, или его враг? Потому что ничего более сокрушительного для осуществления этого проекта нельзя было представить, чем скоропалительная женитьба и последовавшее через десять месяцев рождение первого ребенка. В самом начале пути, не имея ни работы, ни жилья, ни каких-нибудь опубликованных работ, молодой писатель обзаводится женой, начинает свою семейную жизнь со скитаний по квартирнкам и комнатенкам, снимаемым в разных районах Москвы, зарабатывает какие-то гроши на случайных работах — то сторожем, то ночным истопником на стройке...

Уже была напечатана в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и ходили по рукам самиздатовские тексты «Ракового корпуса» и «В круге первом». Самиздат распространял рассказы, повести и куски романа «Чевенгур» Андрея Платонова. Было что почитать вернувшемуся из армии недоучке-студенту.

Я читал самиздат, переведенных на русский Фолкнера, Кафку, слушал песни бардов, но сам ничуть не приблизился к существующему миру поэзии и литературы. Мне неведомо было, где он находится.

Правда, еще на втором году службы в армии я однажды повстречался с ПВР — Писателем Веселовского Района. Произошла она в Ростовском парке культуры и отдыха, жарким и пыльным летом, во время моего воскресного увольнения. Я тогда потолкался в толпе гуляющих, издали присматриваясь к разного вида представительницам прекрасного пола, а затем, часа три спустя, охваченный чувством полной безнадежности, ушел в боковую аллею и присел там на пустую скамейку. И, как это нередко бывало, вдруг из пустоты и душевного отчаяния вылилась сверкающая струйка нового стиха. Я вынул записную книжку и записал его.

И тут на скамье придвинулся ко мне человек в соломенной шляпе, в синей тенниске, в тапочках на босу ногу, с сеткой-авоськой на коленях, в которой был какой-то рыхлый бумажный пакет. Человек со значительным видом посмотрел на меня и вдруг напрямик спросил:

— Стихи пишешь? — и миролюбиво продолжил: — Давно наблюдаю за тобой. Рисуешь и стихи пишешь. По тебе я сразу понял, что ты непростой человек. (Пауза.) Я тоже пишу. Я Писатель Веселовского Района.

И тут он рассказал, что раньше печатал в газетах всякие материалы, а потом однажды поехал в Веселовский район, зашел в райком партии и предложил себя в качестве районного писателя. То есть он заявил, что будет писать книги о славной истории района, глубоко вкопается в местный исторический материал, вытащит его на свет повседневности и свяжет с современностью. Предложение было принято.

— Теперь живу в Веселовском районе... Мне там выстроили большой дом. Написал одну книгу, собираюсь написать другую. Чуешь, как здорово все придумано? Всем хорошо. И району слава, и у меня голова не болит, как издать книгу. Райком занимается этим.

— А нет ли там поблизости какого-нибудь свободного райкома? — спросил я у ПВР, стараясь наиграть голосом великую зависть. — Я после дембеля тоже хотел бы так... Прокормиться-то можно?

— Молод еще, ничего не знаешь... — снисходительно молвил ПВР. — На продукты по себестоимости, которые райком берет в сельской местности и между своими распределяет, хватит и твоей солдатской полочки. Понял?

— Понял! — бодро отозвался я. — Где есть еще такой район? Дай, пожалуйста, адрес.

— Ишь ты, какой приткий! Молодой да ранний! — вдруг рассердился и обиделся ПВР. — Ты сначала докажи, что можешь на это претендовать. Что талант имеешь, что человек серьезный. Думаешь, там в райкоме дураки сидят?

Так он и не указал района, где я мог бы пристроиться на дешевый прокорм. Рассердился за что-то на меня Писатель Веселовского Района, встал со скамейки и ушел, даже не попрощавшись.

Таков был первый живой советский писатель, которого мне пришлось встретить в этой жизни. Но, может быть, все это было «туфтой», как выражались зеки? Уж больно неподходящая была физиономия у этого ПВР... И в особенности вызывали сомнение его дешевые потрепанные тапочки, надетые на босу ногу, и какой-то потрепанный бумажный пакетец, который он нес в сетке-авоське...

Спутники

Их было немало, они, наверное, преуспели в жизни, все эти подвальные поэты, художники, композиторы, с которыми я когда-то познакомился в самом начале своего пути, — дай-то Бог!

На меня произвели большое впечатление знакомство и дружба с одним песенным поэтом, который жил где-то в полуподвальном помещении в Столешниковом переулке, в эти темные катакомбы я и ходил на встречи с молодым, чуть постарше меня, бледнолицым поэтом-песенником Мишей. Он мне покровительствовал на первых порах моего литературного пути. Это был уже довольно преуспевающий профессионал, он кормился тем, что строчил детские стихи, писал тексты для телевидения, сочинял вместе с приятелем-композитором эстрадные песенки и куда-то продавал их рублей по восемьдесят за штуку. Миша был добрый малый и хороший семьянин, имел рыжеволосую кудрявую жену в очечках, рыжего мордастого сына и такую же кудлатую, как и его жена, белесую собаку со злобным голосом, которая закатывалась на весь подвал, выскакивая прямо под ноги из каких-то темных закоулков. Миша содержал всю эту веселую семейку исключительно на свои гонорары, то есть нигде не служил. К тому же чуть не каждый вечер у него в подземелье устраивались попойки, на которые приходила разношерстная отчаянная богема с вином, дешевой колбасой и сигаретами, шумела, пела, спорила, танцевала.

На первых порах, как того и следовало ожидать, я попал на самые дальние задворки литературного мира, туда, где еще не существующий для большой литературы поэт Миша был уважаемым мэтром — для других еще более не существующих в литературе поэтов, прозаиков, драматургов. Авторитет Мишин поддерживался тем, что он уже кое-где напечатал детские стихи, издал картонную книжку-раскладушку в издательстве «Малыш» и, главное, постоянно сотрудничал с детской редакцией Центрального телевидения, писал стишки для популярной передачи «Спокойной ночи, малыши».

Допущенный к грандиозной московской литературной кухне, Миша приносил нам оттуда попробовать кое-какие лакомые кусочки... Меня он представил редакции «Спокойных ночей...», и я вскоре получил первый в своей жизни литературный заказ — сочинить какую-нибудь современную сказочку для детей. Так я на какое-то время стал внештатным сценаристом дошкольной детской редакции телевидения.

Никогда раньше я не представлял, что буду входить в литературный мир через задворки. Та величайшая значительность и грандиозный размах душевной работы, что были мною уже испытаны и пройдены, никак не вязались с мелковатостью и грустным убожеством Мишиного «салона». Обычно там вечерние бдения задерживались допоздна, и почтенный хозяин где-то после полуночи бросал гостей и удалялся из общей комнаты в соседнюю — но не спать, а работать. Там у него стояла пишущая машинка «Оптима».

На другой день, если кому-нибудь из гостей дома приходилось по делу забежать в полуподвал до, скажем, часу дня, то он мог увидеть торчащий из машинки лист бумаги с новым Мишиным поэтическим произведением. О, Миша был замечательный профессионал!

Итак, мои прежние представления о том, как становятся писателем или поэтом, составленные по прочтении некоторых произведений Джека Лондона, Кнута Гамсуна или Чарльза Диккенса, не совпали с действительностью. И прежде всего несовпадение состояло в том, что литература существовала, оказывается, отнюдь не только великая, обозримая для всего мира, но и вполне мелкотравчатая, ни для кого не видимая — что-то вроде тех песенок, что сочиняли Миша и его друг композитор, маленький и вертлявый паренек, весьма похожий на смышленную дворняжку.

И вообще действительность искусства, состоящая не только из празднеств и торжественных дней, составленная не только из гениев и талантов, а размазанная по поверхности унылой действительности тонким слоем заурядного эстетического повидла, эта картина, открывшаяся в моей послеармейской Москве, явилась для меня еще одним потрясением.

Праздника никакого не было. Были скверные будни не карнавала, не фиесты, а самой оголтелой алчной ярмарки. Причем купля-продажа на этой ярмарке совершалась товарами самого низкого пошиба и по самой дешевой цене. За те безделушки, которые я должен был поставлять, телевидение мне платило столько рублей за штуку, сколько стоило тогда дешевое демисезонное пальто. Помню, зеленовато-болотного цвета, в мелкую клетку пальто было куплено на мой первый литературный гонорар...

В самом начале я пытался еще ходить по редакциям журналов. Помню, выбрав один какой-то журнал средней толщины (замахнуться на «толстый» не хватило смелости), я нашел его и, подойдя к зданию редакции... прошел мимо ворот, сделав вид, что никакого интереса к этому дому не испытываю. Не знаю, почему охватил меня сильнейший страх... Я завернул за угол, не спеша прогулялся вокруг всего квартала — и только со второго захода

осмелился зайти в подъезд редакции. Но и там, на втором этаже перед дверью с табличкой, возле окна, где стояли и курили какие-то серьезные городские мужички в галстуках, я простоял битый час. Я выкурил несколько сигарет и только после того, как все мужички разошлись куда-то, осмелился осторожно приоткрыть дверь. Две невыразительные девицы сидели в приемной, о чем-то разговаривали. На меня, конечно, никакого внимания... Только после того, как одна из них ушла, оставшаяся обернулась ко мне с молчаливым вопросом в глазах. Я сдавленным, противным голосом молвил, что вот, принес свои стихи. Девица попросила оставить рукопись и велела написать на последнем листке, на оборотной стороне, полное мое имя, адрес и телефон. После этого редакционная девица впала в глубокую задумчивость. Все сделав, я потихоньку ушел. Никогда больше этих листков со стихами я не видел, никто по их поводу не отозвался ни письмом, ни звонком...

Вскоре я понимал уже, что писательское дело у нас в стране есть дело не частное, а государственное. И при таких обстоятельствах надо было решать, что писать, как писать и для чего писать.

Самым правильным на первый взгляд было бы решение вообще ничего не писать. Но этого я не мог. И тогда-то обнаружилась двусмысленность моего положения. Окружающая действительность была мне немила, поэтому я не мог вылезать, как некоторые, на ее утверждение и прославлении. Равным образом я не мог оказаться и среди тех, кто творил свои тексты на цементе ненависти, отрицания и диссидентской вражды к этой действительности. Та ненависть и нетерпимость, что царили в жизни, в ответном чувстве не могли вызвать ничего иного, кроме той же самой опустошительной ненависти... а я не хотел бы бороться своей злобой против всеобщего зла.

Все это время я писал стихи и прозу, преимущественно рассказы, и ходил по редакциям журналов с этими рассказами, и получал отказы в лапидарной форме: «К сожалению, не подошли...», «Не в направлении нашего журнала...», «Возвращаем в связи с отрицательным мнением рецензента...».

И вот однажды я пришел к поэту Мише в его полуподвал и держал перед ним исповедь, хотя ему-то слышать мою исповедальную речь было ни к чему и не особенно интересно. Я сказал, что литература оказалась для меня малоприятным делом и человеку лучше не заниматься ею, если только он может не заниматься. А если писать, то делать не телевизионные штучки на заказ, а что-то совершенно новое, свое, пусть и смертельно опасное для здоровья. Лицо Миши, бледное и черноглазое, исказила

натянутая улыбка, и он сразу же коротко ответил:

— Не выйдет у тебя... Пропадешь.

Я рассмеялся. Очевидно, он свое положение в жизни не воспринимал как пропащее. Ему от всей души хотелось, чтобы и я тоже уцепился за край пирога, и вдруг я заявляю, что мне ничего этого не нужно! Было отчего рассердиться Мише и, может быть, холодно презирать меня. Я ответил примирительно: — Может быть, и пропаду. Но дело в том, что мне в любом случае пропадать. Так что не страшно — надо попробовать.

— Ну, попробуй, — согласился со мною Миша.

Я ушел — и с тех пор мы больше никогда не встречались. Но я вспоминаю о нем с самыми добрыми чувствами.

Пустынник

Когда я отказался заниматься литературной поденщиной на телевидении, моя надежда перешла из нулевой отметки в минусовую. Если раньше я надеялся, что мои стихи и рассказы в конце концов напечатают в каком-нибудь журнале, то теперь, когда я уже достаточно походил по редакциям, мою душу застило кромешное облако — чувство, что меня никогда и нигде не напечатают. Это облако накрывало все дни первых лет моего писательства.

Но я решил продолжать то, что было уже начато и чему отдано столько отчаянных усилий. Иначе жить я не мог и не хотел. И хотя у меня уже была семья, родился ребенок, я вовсе не считал главным делом своей жизни поднимать эту семью, обеспечивать благосостояние своего дома, держать очаг теплым, холить потомство и тому подобное. Не задумывался я и над тем, как бы мне исполнить долг перед родителями, отблагодарить их за все заботы и постараться дать им покой в старости. Также никакого чувства долга не испытывал я перед могучей державой и ее вождями.

Я начал с того, что ушел из художественного училища и устроился сторожем на стройку, к моему другу Валерию Костионову. Мое дежурство начиналось в четыре часа дня, когда строители заканчивали и уходили домой, и продолжалось до восьми часов следующего утра, когда они вновь приступали к работе.

Ночью я писал за конторским столом, в кабинете моего друга-прораба. Время от времени делал обход территории, огороженной забором. Выходил на кровлю отстроенного здания и, стоя в темноте, смотрел на пылающие огни ночного города.

Не помню уже, в каком районе Москвы находилась эта стройка. Утром я выходил за ворота и оказывался в пустынном переулке со старыми малоэтажными облупленными домами, шел к одной из больших улиц, где надо было садиться на трамвай и довольно долго ехать до какой-то станции метро. Одно лишь запомнилось хорошо: переулок, выходящий на большую улицу, упирался в квартал многоэтажных серых домов новой постройки.

Один из этих домов нависал над тем переулком, по которому я проходил, и угловой балкон на самом верхнем этаже был со всех сторон заколочен досками, как бы взят в глухой ящик. Я приостанавливался на минуту под этим домом и, задрвав голову, пристально вглядывался вверх.

Строители мне рассказали, что там раньше показывались двое собакоголовых детей. Они свешивались через перила и верещали, окликая и пугая прохожих. И вот, чтобы не будоражить народ, балкон был упрятан в ящик, и песьеголовые детки могли теперь сколь угодно бушевать, вопить и прыгать внутри него, шатаая деревянное сооружение... Однако мне никогда не удавалось ничего услышать или увидеть. Тихо было в ящике, который я осматривал, остановившись на тротуаре. Видимо, в восемь часов утра эти химерические существа еще не выпускались на прогулку...

Был ли это очередной городской миф, черный, зловещий, или что-либо другое, я не знаю. Однако этот сюжет говорит о многом. Тональность и окраска нашей жизни были мрачными, криминальными. Какой-то зловещий убийца разгуливал по Москве под видом слесаря Мосгаза и, проникая в убогие бедняцкие квартиры, убивал жалких старушек и сидевших дома за уроками детей — безжалостно пробивал им головы молотком. Он был неуловим и жесток, как дьявол, однако непонятно было все же: ради чего ему убивать беспомощных старух и малых детей? Монстр не совершал грабежей и не насиловал блондинок определенного телосложения... И мне казалось, что подобные дела происходят от той великой, дичайшей скуки и тоскливости существования, которыми была охвачена вся наша действительность.

Еще в дни службы в армии я окончательно осознал, почему мне так хочется писать на бумаге слова. Тут я мог быть свободен, быть самым собой, полноценным, родным самому себе и тем персонажам, которых я выдумывал. В словесных сочинениях своих я, человек с утраченной прародиной, вечный чужак на той земле, где увидел свет, — там я обретал себе и родину, и приятное для себя существование. И если в реальной жизни я не получал большой любви к себе, в рассказах моих и повестях я буквально упивался ее живой кровью, словно хищник любви. И с этим жить было можно.

Таким образом, писать книги означало для меня не профессиональное дело, не социальное действие, но скорее способ истинного внутреннего существования. Видимое же внешнее существование в социуме было для меня таким малопривлекательным делом, что я с ним бы не справился, сошел на нет, если бы не эта открывшаяся возможность уходить и быть счастливым в ином существовании.

В те годы писательского пустынножительства в мою душевную жизнь вошел Лев Толстой, как входил он в жизнь тысяч людей разных поколений. Все это были люди, увидевшие скудость и лживость окружающей жизни, не желающие с этим примириться, пытающиеся понять истинные причины

такого миропорядка, увидевшие их прежде всего внутри человеческой личности, а не только во внешнем пространстве общества.

Особенно убедительной была для меня та часть философских публицистических трактатов Льва Толстого, где осуждался скверный способ жить на свете, физически угнетая своего ближнего, заедая чужой век. Не мог, не имел права никто из людей превращать жизнь другого человека в простое средство своего собственного существования. Но вся громада жизни вокруг и ныне и присно была устроена именно по такому порядку!

И все же каждый человек, понимающий это, мог попытаться устроить хотя бы свою собственную жизнь по законам справедливости, открывшимся ему. Мое решение было таковым, что, желая заниматься литературным писанием, я должен был обеспечить это мое личное, бесполезное для других, умственное дело каким-нибудь посильным полезным физическим трудом.

И, поработав первую зиму своего опрощения сторожем, а затем и кочегаром на стройке, весной я поступил учиться на курсы крановщиков, по окончании коих стал дипломированным машинистом башенных кранов. В общей сложности крановщицкая моя карьера продлилась лет пять, и стоят сейчас где-то в Москве многоэтажные жилые дома, типовые больницы и школы, в монтаже которых я принимал самое непосредственное участие в годы своего писательского отшельничества.

Ибо как писатель я стал отшельником, и моя писательская жизнь проходила в полной изоляции от всякого мира литературы, подобно тому как духовный подвиг какого-нибудь пустычника совершался вдали от человеческих жилищ и храмов. Моей пустыней была вся огромная каменная Москва, зимой холодная, в серых льдах, а летом душная, в синем бензиновом чаду. Мое понимание писательства — не как общественного служения, а именно как формы мистического подвига или постоянной отшельнической молитвы — освобождало меня от удручающих переживаний по поводу отказов журналами печатать мои рассказы и стихи. Да я вскоре и перестал их носить по редакциям. Я писал, как говорится, «в стол». Чем и пополнил, не зная еще того, многотысячную популяцию графоманов, неудачников, шизофреников и непризнанных гениев, коих так много на Руси и которым никогда не грозит, чтобы их труды познали печатный станок.

Зачем все эти люди совершали свою безнадежную работу? Ведь не только по глупости или великому тщеславию. Представить только эти груды пожелтевшей от времени бумаги, на которых графоманы и

непризнанные гении мира начертали свои сочинения! Просто оторопь берет... Я хотел бы сейчас пропеть реквием всем мертворожденным рукописям литературных неудачников всех времен. Они желали, наверное, так же, как и я, быть свободными в несвободном мире — и были свободными, уходя в свои медитации, зафиксированные на пожелтевших листах самой скверной бумаги. В этой короткой жизни, прежде чем закончить ее, они ничего плохого никому не сделали, в их помыслах и делах никакого зла не было.

Именно в этот период работы «в стол» я был, как бы это сказать — наиболее писателем, что ли. Никогда после не ощущал я такой радости от самого процесса работы. Где-нибудь в обшарпанной строительной конторе, на безвестной московской окраине, глухой ночью, сидя над своими рукописями, я испытал всю полноту жизни и ее глубокое, истинное счастье. Подлинность моего писательства была в том, что мне ничего, кроме самой этой работы, стало не нужно.

Итак, после армии я скоропалительно женился, бросил училище на четвертом курсе, стал работать ночным сторожем, кочегаром, крановщиком на стройке... Последняя профессия меня привлекала тем, что, забравшись на высоту птичьего полета, в кабину крана, я оказывался в великолепной самоизоляции, столь необходимой для меня. Настоящая отшельническая келья! Одновременно я мог зарабатывать деньги для семьи. Работа была не трудна, а когда со временем я достиг некоторого мастерства, то начала приносить мне и настоящее удовлетворение. Замечательное было чувство, когда, поднимая со штабеля пятитонный железобетонный блок, удавалось снять его стрелой крана без рывка и раскачки, мягко и нежно, словно пушинку. Или, подавая на стропях широкую плиту перекрытия, опустить ее на приуготовленное место, на раствор, столь аккуратно и точно, что монтажникам, стоявшим внизу наготове со своими ломиками в руках, уж и не надо было поправлять эту тяжеленную плиту, подсовывая кривой конец монтажки под край и сдвигая ее в ту или иную сторону.

Также было замечательно в паузах между монтажными операциями, когда кран был никому не нужен, развернуться окнами кабины на город и созерцать необъятную, теряющуюся в дымке далекого изломанного горизонта урбанистическую панораму. Огромное пространство в нагромождении бесчисленных домов дыбилось, ломалось острыми углами под небом, словно посылая туда молчаливые, тщетные, бессмысленные угрозы...

Кроме кабины башенного крана, вывешенной в поднебесье, и ночных прорабских контор на стройках, моими рабочими кабинетами в те годы

были пустые комнаты в необитаемых домах, подлежащих сносу, и свободные, еще не заселенные комнаты в коммунальных квартирах новостроек, а также пустующие художественные мастерские под самыми крышами на Сиреневом бульваре. Так уж получилось, что писать на своей первой квартире, в пятиэтажной «хрущобе» у станции метро «Молодежная», на окраине Москвы, я никак не мог. Квартира была мала: две смежные комнаты, крохотная кухня. Кроме меня с женой и дочерью, в ней вскоре стали жить моя младшая сестра-студентка и парализованная матушка, которую перевезли с Дальнего Востока...

Словом, для моей писательской деятельности судьба предоставляла мне мало возможностей. Не только родственники — весь окружающий мир, казалось, с осуждением воспринимал это мое отчаянное решение. К тому же корейское происхождение как бы всегда оказывалось причиной тайного сомнения моей судьбы, которая начинала впадать в недоверие к самой себе, и точно так же вызывалась вопросительная мина на лицах у всех, кому становилось известно, что я собираюсь стать русским писателем. Нет, я не мог со всем этим справиться дома и спокойно писать. Постоянно надо было искать какое-нибудь уединенное место, убежище, где я мог бы без свидетелей разложить свои бумаги и надолго склониться над ними с карандашом в руке.

Но, побегав по разным московским углам и поработав год-другой крановщиком, я почувствовал, что во мне все меньше остается желания писать. Порой физически трудно становилось сесть за стол.

Через некоторое время мне стало ясно, что если я не буду публиковаться, если не обрету писательской профессии, а останусь навсегда крановщиком, то во мне рано или поздно исчезнет желание писать.

И тогда мне, понявшему, что с ходу вскочить в поезд не удастся, пришло на ум поступать в Литературный институт имени Горького. Не для того, чтобы научиться сочинять, а чтобы получить доступ в существующий клан литераторов — Союз писателей. С самого начала я отдавал себе отчет, что Литинститут мне нужен лишь как стартовая площадка для литературной карьеры.

Тверской бульвар, 25

Пожалуй, это единственный существующий в мире университет литературы, где обучаются мастерству прозаики, поэты, драматурги, критики, литературоведы, художественные переводчики — считай, люди почти всех литературных профессий. Но я вовсе не уверен, что Литинститут совершенно необходим для отечественной и мировой литературы. Мои сомнения рождены непосредственной практикой, тем, что понял я, еще будучи студентом этого творческого вуза, а потом, годы спустя, преподавателем кафедры литературного мастерства.

Может быть, в смысле получения чисто филологического образования институт немало дает своим питомцам, и «литературный работник», как определяется в дипломе по графе «специальность», вполне может состояться после окончания Литинститута — редактор, переводчик, журналист. Однако почему-то в дипломах не пишется прямо и открыто, что человек окончил определенный факультет и стал, допустим, прозаиком или драматургом, поэтом или критиком. Наверное, есть что-то сомнительное в том, чтобы называть сочинительство стихов или писание прозаических произведений специальностью подобно профессиям инженера или юриста.

Да, Литературный институт может подготовить литературных работников. Уникальных же художников там не воспитывают, да и такой задачи не может быть поставлено. То есть никогда и никоим образом институт не способен был взрастить в своих стенах гениального поэта или писателя. Таковое противоречило бы самой природе этого учебного заведения. Там постигалось литературное ремесло под эгидой определенной идеологии, институт официально назывался идеологическим учебным заведением. Главными предметами в его программе были история КПСС и марксистско-ленинская философия. А для нее самобытный гений, выходящий за рамки партийности, был явлением нежелательным.

Но коль скоро литературных талантов и раньше на Руси проявилось немало и все они как-то состоялись без Литературного института, то можно смело сделать вывод, что обучать поэтов и писателей их ремеслу в вузе вовсе не обязательно. Мало того — появлению высшего художественного таланта в институте обязательно сопутствовали бы некое неблагополучие судьбы и неминуемый конфликт с действительностью. Ибо невозможным было совмещение свободы духа, что есть главное условие для самовыражения таланта, с идеологическими установками данного

литературного университета.

Однако я шесть лет проучился в Литинституте, впоследствии пять лет проработал преподавателем и храню об этих годах отнюдь не только горестные воспоминания. Мне приятно вспоминать о художественном руководителе нашего семинара, старом писателе Владимире Германовиче Лидине, в особенности о встречах с ним вне институтских занятий (на которых, кажется, он и сам слегка скучал) — у него дома или на даче в Переделкине, или в музее Льва Толстого, где наш профессор был своим человеком. С удовольствием вспоминаю и о некоторых моментах семинарских занятий уже со своими студентами, которым я, памятуя о тоскливых часах собственных семинарских штудий, старался дать возможность больше говорить самим, чем слушать меня.

Но когда сейчас я думаю о том, что изо всей дюжины моих талантливых семинаристов ни один так и не стал профессиональным писателем, то у меня сразу же портится настроение. Потому что определенно я чувствую на себе какую-то вину за их незавидную литературную судьбу.

В годы учебы я совсем не делал никаких попыток опубликоваться, хотя писал по-прежнему много и постоянно. В основном это были рассказы. Я уже чувствовал, что кое-что у меня начало получаться. Через рассказы мне открылось, что самое главное для пишущего художественные тексты, — это не тема, не выигрышный материал, даже не глубочайшая философская мысль. Главное — язык. Свой язык, соответствующий единственному духовному феномену — твоему. И этот язык я с настойчивостью искал ощупью, полный неуверенности, тревоги, порою с обрушивающимся на душу чувством безнадежности и полной жизненной катастрофы. О, каким неосуществимым представлялось тогда это дело! Между тем житейская сторона, семья и дом мой пришли в самое плачевное состояние. Первая жена моя, кореянка, женщина послушная, нетребовательная, не проявляла никакой инициативы в крутой жизненной борьбе и только как бы молчаливо и выжидательно следила за моими действиями со стороны. Будучи по-своему стойкой и терпеливой женщиной, в классическом восточном варианте, она никогда не позволяла себе упрекнуть меня в чем-нибудь или хотя бы раз пожаловаться на жутчайшую нужду и убогость нашего семейного быта. Много лет она хозяйничала в двухкомнатной квартирке, где столик с тумбой, полки, скамейка — вся кухонная мебель была изготовлена из древесно-стружечной плиты, которую мы с моим другом Валерием Костионовым унесли с ближайшей стройки. Дома мы разметили ее и, порезав на куски, сколотили необходимую кухонную

мебель, книжную полку и письменный стол. Спали мы на пружинном матраце, к которому я приделал самодельные деревянные ножки. От нашей бедности и тоски, наверное, в щелях деревянной части матраца завелись клопы, а на кухне забегали тараканы. О, эти твари немедленно заводятся там, где влачит свое существование беднота мира! Я вел свирепую борьбу с супостатами, но успехи у меня были переменные. Порой клопы доводили меня до отчаяния. Они искусывали ночью мою маленькую дочь так, что бедное тельце ее, ножки, ручки и даже лицо покрывались красными волдырями.

И вот наступило такое время, когда я вдруг почувствовал, что почти сломлен, продолжать дальше подобную жизнь, стараясь не замечать всей ее страшной и мелочной подлости, я не в силах. Однажды на зачетах, собираясь уже идти отвечать профессору, я машинально полез в карман куртки достать носовой платок, хотел вытереть лоб — и вдруг увидел, что достал из кармана вовсе не платок, а красные штанцы своей дочки-малышки. И вспомнил, что утром, отведя девочку в детский сад, я переодел ее в сухое, а мокрое сунул в карман куртки и забыл об этом. Вечером в институте сие обнаружилось...

Мой друг Валерий Костионов в то время уехал из Москвы на заработки в далекую сибирскую страну Туву. Приехав оттуда зимой 70-го года по каким-то делам в Министерство строительства, он зашел к нам и увидел, до какой жизни я дошел, сидя на шее своей жены, которая зарабатывала в ателье портнихой совсем крохи, и мы иногда почти голодали. Я же, не обращая ни на что внимания, учился и писал про жаркий воздух и текучее волнистое марево Сальских степей... Валерий Костионов предложил мне поехать к нему в Туву, чтобы я там поработал на башенном кране.

Доведенный до отчаяния, я был на все согласен. И вот в феврале, вскоре после визита к нам Валерия, я заработал немного денег, выпустив плакатик в медицинском издательском бюро, половину оставил жене, на другую половину купил билет на самолет и отправился в далекую страну Туву.

Путь в никуда

Никаких денег я не заработал на строительных участках моего друга-начальника в Туве. Уж больно было холодно на стройках, и друг пожалел меня, оставил у себя в теплом доме, где я начал работать над повестью «Луковое поле» — часть первая, — а также готовил обеды на всю его семью из замечательной телятины, замороженной целыми тушами, замороженной же рыбы-хариуса, придумывал соусы к мясу из заледеневших ягод облепихи. Этих экзотических продуктов заготовлено было у друга достаточно, ими была набита вся серебристая от инея веранда, которая в зимнее время использовалась как холодильник.

Друг дал мне заработать на обратную дорогу тем, что заказал для украшения строительного участка нарисовать гигантский портрет Ленина — шесть метров в высоту и четыре в ширину. И я такой портрет нарисовал на фанерных щитах и получил за это несколько сотен рублей — немалые деньги для того времени. А вернувшись в Москву после двухмесячного отсутствия, я узнал от жены, что скоро второй раз стану отцом.

С рождением второго ребенка стало совсем худо. Жена в роддоме застудила почки, и у нее начался туберкулезный процесс. Она стала подолгу пребывать в больницах, в специальных санаториях, а я оставался дома с двумя дочерьми, одна из которых только что пошла в школу, а вторая, младшая, едва научилась ходить. Но она гораздо увереннее чувствовала себя не в стоячем положении, а в ползучем, и часто бывало, что малышка моя вползала под письменный стол, за которым я работал, и там засыпала, обняв мою ногу и прижавшись к ней головою. А я в это время писал какие-то слова, которые почему-то имели для меня большее значение, чем радость простой жизни, покой семьи и здоровье скромной, терпеливой жены.

Я снова пытался заработать на телевидении, но как-то плохо это у меня получалось. «Больничных» денег жены было явно маловато для выживания нашей семейки. Однажды дошло до крайности — денег не оказалось даже на еду, и я срочно собрал все бутылки из-под вина, накопленные на балконе за несколько лет, набил ими рюкзак и понес в пункт приема стеклотары.

В ближайшем пункте оказался выходной, и я вынужден был поехать на троллейбусе к дальнему продовольственному магазину, где также принимали пустые бутылки. Никаких денег у меня в кармане не оказалось,

так что пришлось ехать «зайцем». Когда я подъехал к магазину, то еще издали, от остановки, увидел, что у ларька приемки стеклотары хлопочет женщина в синем халате — закрывает деревянным щитом окно и навешивает висячий замок. Я понял, что опоздал, — приемный пункт закрывался, время уже было вечернее. Без какой-либо надежды подошел к двери и, движимый одним лишь отчаянием и крайним ожесточением (к себе, к одному только себе!), открыл ее и вошел внутрь помещения. Там было полутемно, горела голая электрическая лампочка под потолком, и приемщица, полная, не старая еще, склонившись над столом, что-то писала. Подняв голову, она с молчаливым вопросом в глазах уставилась на меня. И я неуверенным голосом, заикаясь, спросил, не может ли она принять у меня посуду. На что приемщица вполне спокойно предложила мне пройти в соседнее складское помещение и самому выложить на стол все мои бутылки... На вырученные деньги я смог купить в том же продовольственном магазине хлеба, молока и пачку черного китайского чая...

На другое утро я сидел на кухне один и смотрел в окно. Перед нашим длинным пятиэтажным домом находился такой же длинный «хрущевский дом». Картина, раскрывавшаяся перед глазами, была удручающе убогой и бездарной. На широкой плоской стене — одинаковые квадратные окна. В них кое-где видны какие-то люди... Но небо над прямой крышей соседнего дома было чудесной голубизны и бездонности, как и всегда! Где-то в комнатах звучали голоса моих домашних — девочки ссорились и пищали, мать увещевала их. Я вслушивался в эти привычные мирные звуки, смотрел в пустое голубое небо и загадывал. Если появятся в створе окна какие-нибудь птицы — вороны, голуби или воробьи — и пролетят справа налево, то принятое вчера решение ни к чему не приведет, и я все же погибну. А если в экране окна птицы пролетят слева направо, то все будет хорошо, я добьюсь своего и спасу мою маленькую семейку... И птицы, надо сказать, пролетели слева направо, слава Богу, — несколько молчаливых черных ворон самого будничного вида.

В один из дней, когда я сидел с детьми дома, а жена находилась в больнице, вдруг раздался телефонный звонок... Звонил мне грузин Ш., который заканчивал Литинститут. Я раньше видел его, но почти не был знаком, никогда с ним не общался — длинный белобрысый грузин с платиновыми зубами, про которого говорили, что его дядя — крупнейший правительственный деятель в Кремле. Ш. изложил мне по телефону деловое предложение: чтобы я по подстрочнику сделал художественный перевод его дипломной работы — повесть и рассказы... За что он обещал

«лично из мой карман» заплатить мне по двести рублей за авторский лист... Тогда это были неслыханные деньги для меня. Я спокойным голосом, чтобы не спугнуть его, попросил приехать ко мне и привезти рукопись.

Так появился в моем доме этот плоский и длинный, как фитиль, Ш., мой первый литературный работодатель, благодетель и слегка жуликоватый, но вполне добрый ангел, в то самое драматическое для нас время выручивший меня. Возникнув на пороге, он торжественно протянул мне скатанную в трубочку рукопись. Но она оказалась написанной по-грузински! Я удивился: а где же русский подстрочный перевод? На что Ш. объявил мне, что подстрочник не понадобится, потому что: «Я сам буду читать по-грузински, говорить по-русски, а ты слушай и быстро-быстро переводи. На грузинском это великолепный текст, дорогой Анатолий! Слушай, я великий писатель Аджарии». Пришлось записывать за ним кое-как передаваемый на ломаном русском, порой едва понятный по смыслу «великолепный текст» великого писателя Аджарии. Я потом обрабатывал и, чего там скрывать, порой писал что-то от себя, потому что в произведениях Ш. было много несуразностей (или устный перевод был таким?), и я, чтобы добросовестно отработать деньги, исправлял как мог все эти места.

Правда, он не сразу хотел отдать честно заработанные мною деньги! Когда я сделал и передал ему свою работу, грузин Ш. стал бегать от меня, прятаться и хотел, видимо, как-нибудь увильнуть. Но я узнал его домашний адрес и послал ему длинную телеграмму, в которой пригрозил, что если он не соблаговолит мне заплатить, то я пойду на кафедру творчества, заберу свой перевод и таким образом не дам ему защитить дипломную работу. И буквально на следующий день Ш. принес мне домой деньги. Я тогда не стал их считать при нем, а он как раз и надул меня на сотню рублей — этот рыжий грузин никак не мог, очевидно, обойтись без того, чтобы не сжульничать.

Он мне рассказывал, что у него в Аджарии имеется двухэтажный дом и гектар мандариновой рощи, доход с которой каждый год составляет примерно два чемодана денег... Когда с моей помощью Ш. успешно защитил свою дипломную работу, то на радостях устроил банкет в дорогом ресторане «Минск», куда пригласил всех, кто только попался ему в Литинституте, — студентов, канцелярских работников, преподавателей, аспирантов, самого ректора института Пименова, руководителей семинаров. Дело происходило летом, было время каникул, и поэтому народу набралось на пиршество всего человек семьдесят. Кажется, Ш. был несколько огорчен этим обстоятельством. Потратил он на банкет столько,

что этого хватило бы мне, наверное, года на три или даже четыре.

А затраты на мои переводы Ш. возместил с лихвой: он напечатал рассказы в еженедельнике «Литературная Россия» и в журнале «Огонек», повесть опубликовал в журнале «Молодая гвардия», затем издал ее миллионным тиражом в «Роман-газете». Очевидно, мои переводы и «редактура» не очень испортили их, раз они были напечатаны в таких престижных изданиях... А мои собственные рассказы и повести, увы, по-прежнему нигде не хотели печатать!

Постепенно мне стало представляться, что какие-то могущественные тайные силы стоят на моем пути и злонамеренно не допускают меня к публикациям в журналах. Я даже стал как будто бы ощущать на себе чье-то пристальное незримое внимание, улавливать чью-то насмешливую ухмылку... Словом, я с тоски начал по-настоящему сходить с ума. Мне все труднее становилось просто зайти в какой-нибудь журнал или даже позвонить туда. Бедные редакторы и редактрисы! Если бы знали они, какие только проклятия не посылал я на их головы! Много лет спустя, когда меня стали печатать и я даже обрел какую-то известность, с этими же редакторами мне пришлось иметь дела, и с некоторыми из них я подружился. И узнал, что ничего сверхъестественно чудовищного, дьявольского нет в существе по имени «редактор», что он более обездолен, чем даже плохонький писателишка...

Выход из подполья

И все же что-то начало помаленьку изменяться в отношении меня со стороны внешнего мира. Как бы прошла его абсолютная глухота и неотзывчивость к моим литературным воплениям. В редакциях некоторых журналов, таких, как «Дружба народов» и «Москва», со мною стали разговаривать более внимательно, чем раньше. И рукописи стали возвращать не сразу — с полным и окончательным отказом, — а с некоторой нерешительной задержкой. Порой эти задержки длились по году. И в журналах стали просить, чтобы я приносил другие свои сочинения. Все это было для меня новым, обнадеживающим...

Однако и уверенность моя в собственные силы укреплялась. Я читал вслух свои рассказы на каких-то московских литературных вечеринках с чаем, легким вином, с дешевой колбасой на закуску и неизменно имел успех. Какие-то дамы появлялись, с умными глазами и приятными манерами, которые начинали внимательно расспрашивать меня и предлагать знакомства с некоторыми московскими мэтрами литературы. Я охотно шел на эти знакомства, хотя и убеждался каждый раз, насколько они докучливы для самих этих значительных лиц и бесполезны для меня. Мэтры смотрели в мою сторону с плохо скрываемой досадой, подозрительно, словно полагали, что я пришел к ним просить денег. Но я быстро разобрался, что к чему, и в посещениях подобного рода разгадал некое поведенческое проявление культурно-стадного инстинкта. Надо, надо было шастать за добычей по московским литературным саваннам и джунглям! И не в одиночку, но обязательно в свите какого-нибудь заметного льва. И если вожак бывал уже несколько облезлым, глуховатым или беззубым, это не имело большого значения. Лишь бы тебе оказаться в львином прайде. Ибо литературный ареал Москвы давно был поделен между стаями, и существование каждой шло почти независимо от других. Иногда могло получиться и так, что никогда не пересекались пути-дороги какой-нибудь Г-ской группировки с Е-ской, и литературные прихвостни, кормившиеся в каждом из этих прайдов, ухватывали свои куски в разных издательствах, в разных журналах, всю жизнь ни разу не сталкиваясь друг с другом.

Одиночек практически не было. Одиночки не выживали.

Десять лет я старался избегать участия в подобной охоте, но постепенно пришел к выводу, что в одиночку мне не добиться толку. На

исходе десяти лет после того, как я начал заниматься литературой, исподволь накопилась в моей душе огромная усталость. Мое первоначальное желание, заставившее пойти по этому пути, за прошедшее время постепенно видоизменилось. И если прежде мне хотелось писать, чтобы уйти в мир слов от реального социума, то теперь пришло желание обязательно опубликовать в этом социуме то, что было мною написано. Я понял, что моя жестокая борьба за право и возможность писать плавно переходит в не менее жестокую борьбу за право и возможность печататься.

В нашем доме подобрались в основном жильцы среднего советского класса: инженеры, интеллигенты-гуманитарии, военные чиновники невысокого ранга. Я попал в этот дом потому, что отец дал мне денег на первый взнос в жилищный кооператив. Соседями по лестничной площадке оказались симпатичные старик со старухой, еврейская семья, муж был художником-акварелистом, жена — писательницей, писавшей на идиш. Совпадение по интересам оказалось двойным — я ведь был в какой-то мере художником, ну и писателем тоже... Одним словом, я и моя корейская семейка в скором времени подружились с соседями Горшманами.

На протяжении многих лет они могли наблюдать за моими драматическими коллизиями с действительностью. Люди отзывчивые и сами пережившие все неизбежные стадии художественной безвестности и неприкаянности, Горшманы как могли помогали мне в моей схватке с житейской рутиной, поддерживали во мне боевой дух.

Голубоглазая Шира Григорьевна учила меня ухаживать за больными детьми, варить особенно питательную кашу из овсянки, выслушивала мое чтение — я читал ей кое-какие свои рассказы. Муж ее, тщедушный и болезненный старик, прекрасный акварелист Мендель Горшман, также уделял мне много внимания, подбадривал и вселял в мою слабеющую душу всяческую надежду. Однажды он предоставил мне на целую зиму свою художественную мастерскую, расположенную на Сиреневом бульваре, и я мог там уединяться, чтобы вдали от семейных дрызг творить свои бесполезные пока «нетленки». Не представлялось, что когда-нибудь они смогут принести хоть какую-нибудь пользу моим близким, моей маленькой семье, затерянной в огромной столице, и мне самому.

У этих добрых соседей оказался зятем самый, пожалуй, знаменитый артист того времени — Иннокентий Смоктуновский. Слава его была так велика, что в Киеве, в Ленинграде и Москве были созданы общества поклонников, которые время от времени устраивали конгрессы фанатов. Эти общества самозабвенных любителей Смоктуновского несколько иронично называли сами себя «сектой смоктунов». Они вели меж собою

активную переписку, производили обмен культовыми ценностями: фотографиями артиста, открытками, автографами, пуговицами с его пиджака, оторванными во время одного из захватов фанатичками зазевавшегося кумира у подъезда его дома, статьями о нем во всей многообразной отечественной и зарубежной прессе и т. п.

Я сам очень любил этого артиста, считал его, пожалуй, единственным у нас, которому удалось быть абсолютно самобытным. В конформистском обществе все таланты должны были так или иначе принимать участие в создании всеобщего стереотипа. И только у Смоктуновского, игравшего те же пресловутые роли «наших» положительных или «наших» же отрицательных героев, получалось в высшей степени своеобразно, с неожиданными глубинами, хорошо и подлинно прочувствованными и переданными. Смоктуновский не играл своих героев, он перевоплощался в них.

Помню, впоследствии, время от времени встречаясь с ним, я часто совершенно не узнавал его. Ибо он весь менялся в связи с какой-нибудь новой ролью. Я впервые увидел его вживе на лестничной площадке перед дверью своей квартиры. Мой кумир стоял в унылой позе, положив руку на перила лестницы, глядя вниз — оказывается, пришел к своей теще, да не застал ее... Передо мной находился принц Гамлет с короткой прической русских волос, глубоко ушедший в себя, должно быть, в размышления о полной безнадежности человеческой природы. Драма отсутствия тещи Гамлета была не столь уж глубокой и значительной, но он все еще продолжал оставаться в образе, потому как съемки фильма «Гамлет» и премьеры прошли совсем недавно.

Впоследствии у той же его тещи я однажды увидел какого-то лысого, мясистого, с розовым голым лицом человека, которого я принял за одного из ее гостей. Довольно часто в квартире Горшманов появлялись эти господа из провинции. Раньше жившие в коммуналке, в одной комнате со взрослой дочерью, а потом и с зятем, старики с получением отдельной двухкомнатной квартиры почувствовали себя владельцами полумира (наверное, точно так же, как и я!) и стали чуть ли не зазывать к себе иногородних друзей и поселять их на столичное прожитие у себя. Налысо обритый, с блестящим черепом и сытым загривком новый гость моих соседей без особенного удивления посмотрел на меня, стоявшего посреди комнаты и разговаривавшего с маленьким хозяином в зеленом свитерке, молча кивнул мне и затем прошел на кухню. Я еще немного поговорил с хозяином, и вдруг в разговоре обнаружилось, что прошедший на кухню господин был вовсе не гость, а зять. Смоктуновский тогда снимался в

кинофильме «Преступление и наказание» в роли следователя Порфирия Петровича, и он у актера почему-то выходил таким: обтекаемо-лысым, сытым, с плотоядными губами, с внимательным и в то же время ускользающим в сторону взглядом синих выпуклых глаз... Так бывало несколько раз. В те дни, когда он снимался в «Чайковском», я неудачно разминулся с ним на пешеходной дорожке у нашего дома, задел локтем и, извинившись, прошел дальше. Меня окликнули, я остановился и оглянулся. Бородатый человек с красивым одухотворенным лицом несколько болезненного вида — какой-то очень сосредоточенный, светло напряженный — смотрел на меня и окликал по имени. Это был он, милейший Иннокентий Михайлович. «Что же вы, Толя, не хотите поздороваться со мной? — усмехаясь, молвил он. — За что-нибудь обиделись на меня?..»

И все же самое яркое впечатление было при первом знакомстве со Смоктуновским-Гамлетом. Впоследствии, когда мы вроде бы подружились (у него, конечно, было очень много и других людей, называвших себя его друзьями) и он даже крестил меня вместе со своим двадцатипятилетним сыном Филиппом — мне же было тогда сорок лет, — много разных обликов и личин наблюдал я у этого гениального актера. И не знаю до сих пор, какая личина была его самая-самая настоящая и единственная. Мир праху его.

Он был крестным отцом мне не только по православной вере. Подлинным крестным оказался для меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский и в литературе. В ту первую нашу встречу на лестничной площадке я осмелился предложить ему зайти ко мне и там подождать возвращения тещи. На что мой кумир довольно охотно согласился. И чудесный посланец судьбы переступил порог моего дома. Тогда еще проживала у меня одна из моих сестер, студентка химического института. Она чуть не сошла с ума, увидев перед собой столь знаменитого гостя. Иннокентий Михайлович посидел у нас совсем немного, вскоре вернулась его теща, и он перешел к ней. Прежде чем уйти, Смоктуновский открыл небольшую картонную коробочку, что держал в руке, — там оказалась золотистая копченая мойва. Это был гостинец теще, но в благорасположение к нам он выложил из коробки копченой рыбы, сколько могла захватить его рука с длинными ухватистыми пальцами, поросшими рыжими волосами. И эту рыбу сестра моя не желала отдавать на съедение, хотела сохранить навеки как бесценный раритет, однако я воспротивился, и вкусная рыбка была все же съедена. Тогда сестра собрала все рыбки хвостики и куда-то спрятала — может быть, и до сих пор держит их где-

нибудь в семейном сундуке...

Через месяц после этой встречи Смоктуновский снова появился в моей квартире. В прошлый раз при знакомстве я кое-что рассказал о себе: чем занимаюсь, как живу. Но он сам прекрасно увидел, как живу. В крошечной моей квартире имелось всего три стула, два пружинных матраца с деревянными самодельными ножками, один самодельный письменный стол. У стены стояла детская кроватка, над нею на стене бурые следы от давленных клопов. Прошедший в молодости свирепую школу артистической богемной нищеты, Смоктуновский в одну секунду все понял, и мне не надо было пытаться скрыть что-то...

Он зашел к нам и попросил у меня рукописи каких-нибудь рассказов, которые, на мой взгляд, могут быть напечатанными. Он хотел их отнести в какой-то журнал. Я совершенно откровенно рассказал ему, что все бесполезно, что десять лет уже бегаю по редакциям и никто не хочет печатать меня. Тем не менее он настоял, и я отдал ему рукописи двух небольших новелл.

Не знаю, что заставило артиста прийти мне на помощь. Я ее уже ни от кого не ожидал — и не потому, что разуверился в людях, а просто считал, что в нашем деле никто никому помогать не должен. Да и невозможно это было. Ради такого дела, которое нужно только мне одному, откуда и какой же мне ждать помощи? Он отвез мои рукописи в Ленинград и там передал в редакцию журнала «Аврора». Не знаю, как он представлял меня, но всего через три месяца я уже держал в руках зеленый номер журнала с первыми напечатанными моими рассказами. Произошло это славное событие в январе 1973 года.

Очень скоро после этой публикации, в следующем месяце, появилась в «Литературной газете» обзорная статья за подписью ЛИТЕРАТОР (официозная редакционная рубрика), в которой среди нескольких журнальных удач начинающегося года первыми были названы мои два рассказа. Достоинством рассказов ЛИТЕРАТОР отметил их язык — «высокую культуру письма».

Колоссальный вздох облегчения изошел из моей многострадальной груди. Ведь я больше всего опасался того, что в моем физическом существе нет ни одной русской клеточки, и вся длинная генетическая цепочка, пока что завершенная моей невнятной персоной, не содержала в себе ни одного звена русской языковой природы. Я боялся, что при всех моих стараниях фатальным барьером предстанет для меня иноязычное мое происхождение. Родители мои, хотя и были школьными учителями, лишь наполовину, а то и намного меньше использовали в своей жизненной практике русский язык.

Эта неуверенность и тревога — быть «уличенным» во вторичности языка, в некоем неисправимом «акценте» инородца — мучили меня все эти нелегкие годы литературного становления... И вот первое, что услышал я от критики, — слова о моей «культуре письма»... Было отчего вздохнуть с великим облегчением.

После дебюта потек тоненький ручеек моих журнальных публикаций. Пожалуй, с 1973 года до сих пор в разных русских и нерусских журналах страны ежегодно печатаются мои рассказы, повести, романы, пьесы, киносценарии. С 1976 года стали выходить книги. И в реке времени этот журнально-книжный поток течет уже более двадцати лет.

Я сейчас имею возможность посмотреть на этот поток со стороны, как бы стоя на берегу реки и обозревая ее извилистые повороты, сужения, широкие разливы. Эта река литературного творчества и есть река моей подлинной жизни на Земле. Она еще течет, и я еще живу. Мне удастся увидеть ее исток, также ясно вижу реку своей жизни в ее среднем течении, там, где проявились ее самые характерные признаки. И уже предощущаю где-то в недалеком пространстве бытия тот сверкающий вечный океан, в котором бесследно исчезают потоки всякого жизненного творчества — все великие и малые земные реки. Я стою сейчас на берегу своей невидимой реки жизни и испытываю благоговейный душевный трепет перед высоким небом, что светится над грядущим океаном, собирателем всех творческих человеческих судеб. Надеюсь, что ничто не случайно в этом мире, изумительном шедевре высшего художественного творчества, и каждый поток обязательно дойдет до океана и сольется с ним.

Книги-1

Первая книга далась мне нелегко. Ее история полна драматических событий, приключений, интриг и даже тайных преступлений. Началось с того, что однажды мой бывший руководитель семинара в Литинституте, Владимир Германович Лидин, решительно заявил мне, что пора составлять книгу рассказов. И сердце мое тревожно замерло.

По окончании института мои отношения с мудрым, старым Лидиным продолжались. Он благоволил ко мне, время от времени приглашал в гости к себе, иногда и с семьей, с моими маленькими черноволосыми дочерьми и женой... Однажды, когда я дошел до края, мне почему-то пришло в голову написать Лидину письмо (хотя я мог в любое время позвонить ему, встретиться и поговорить), где я признавался, что готов уже на все махнуть рукой, забыть о литературном занятии и подыскать какое-нибудь дело понадежнее. В ответ он немедленно отослал меня в Литературный фонд, где мне выдали сто рублей безвозмездной помощи, а затем последовало предложение составить книгу и отнести в издательство.

Но издать книгу в те времена простому смертному было невозможно. Советские издательства были все крупными, как линкоры и авианосцы нашего славного Военно-морского флота. Сходство советских издательств с военной машиной усугублялось еще и тем, что они были напрямую подчинены и поднадзорны неким людям с воинскими званиями. Эти люди, если хотели, могли появляться в издательстве и в своей военной форме с погонами КГБ — речь идет о цензорах. Называлась цензура почему-то ГЛАВЛИТ, и мне до сих пор неизвестно, что это обозначало: главная литература? глава литературы?

Однако за этой расплывчатой неопределенностью названия скрывалась самая жесткая и весьма определенная структура. Ни одна книга, журнал или газета не могли выйти без разрешения на то цензуры. Никакие литературные авторитеты, писатели или редакторы самого высокого ранга не могли обойти чиновников таинственного ГЛАВЛИТа. За все ошибки и недосмотры редакции, подавшей в ГЛАВЛИТ непроходимый материал, редакторы сурово наказывались. Поэтому работа приучала их к особой бдительности, которая у многих доходила до такого высокого уровня, что после иного редактора никакого цензора уже не понадобилось бы. Профессиональное мастерство советского редактора определялось в первую очередь умением безошибочно распознать «непроходимую»

рукопись и «зарезать» ее сразу. И дело было не в природной подлости или трусости редактора — нет, он мог быть и вполне приличным человеком, однако правила игры были таковы, что не проявить трусости или, наоборот, проявить смелость ему просто было невозможно.

Один наблюдательный и весьма остроумный редактор издательства «Советский писатель» заметил, что у Кима походка типично китайская — как у китайских строителей дамб и плотин, которые носят землю в корзинах на коромысле, грациозно движутся на полусогнутых ногах. А ведь было замечено очень даже точно! Я действительно передвигался по редакциям на полусогнутых ногах. Но это не потому, что я привык таскать землю в корзинах, а потому лишь, что был совершенно подавлен и страшно стеснялся всех в этом жутковатом доме под названием «Советский писатель».

Одним словом, бесплодной оказалась бы эта самая первая попытка, если бы я сунулся в издательство самовольно. Но меня направил туда Лидин, сопроводив рукопись запискою, адресованной заведующей отделом прозы. И рукопись зацепилась в «Совписе».

Впоследствии я узнал многих достославных работников этого издательства, с некоторыми даже подружился. Но сейчас расскажу не о них, а о другой фигуре редакционного коллектива, весьма важной для всякого автора, в особенности для малоизвестного. Как правило, эта фигура всегда оставалась в тени, редко кто знал о ней — речь идет о так называемом «внутреннем рецензенте». Это к нему в первую очередь попадала принесенная в издательство или журнал рукопись, и от него зависело, будет ли она дальше рассматриваться или же ее с вежливым отказом вернут автору. За весьма скромную плату рецензент знакомился с рукописью и затем сострепывал небольшую рецензию с определенным резюме в конце: рекомендуется для издания или отвергается.

Работа эта была внештатная, журналы и издательства держали рецензентов в основном для заслона от так называемого «самотека», рукописей без рекомендаций, которые были обречены на то, чтобы угаснуть, наткнувшись на холодное, твердое сердце внутреннего рецензента. Ибо это сердце должно было быть таким же, как у врача, скажем, у адвоката, а точнее всего — у заплечных дел мастера, который по службе обязан рубить головы.

И ездил по Москве один здоровенный красивый молодой мужик на машине «Нива», назову его — Казак, член Союза писателей, бывший сибирский охотовед, который специализировался на внутренних рецензиях и превратил это дело в основной жанр своего литературного творчества. То

есть повестей и рассказов о сибирской тайге и об охотниках он больше не писал, а на жизнь зарабатывал тем, что объезжал на своей машине издательства Москвы и набирал огромное количество рукописей для рецензий. На постоянном рецензировании выколачивал он достаточно денег, чтобы содержать дорогую «Ниву» и двух любовниц, одну из которых навещал с понедельника по среду, а другую — с четверга по воскресенье. Может быть, я уже подзабыл и неточно передаю расписание, о котором Казак мне сам поведал.

Можно себе представить, как этот малый рубил сплеча головы своим «самотечным» авторам, решительно и поспешно, потому что чикаться было некогда, ведь ему надо было зарабатывать много денег. И наш мастер достиг такого совершенства в своем деле, что со временем мог уже написать отзыв на самую объемистую рукопись, прочитав всего несколько страниц — в начале, в середине и в конце. В исключительных случаях он мог бы написать рецензию, даже не заглянув в рукопись. Казак был, наверное, самым продуктивным и виртуозным мастером своего цеха, во всем мире не нашлось бы второго такого маэстро внутренних рецензий.

...Раньше моим рукописям также пришлось пройти через руки подобных мастеров, и, как понимаю теперь, мне никогда не удалось бы напечататься в журналах и выпустить книгу, если бы судьба не послала мне крестного отца Смоктуновского и доброго профессора Лидина. Благодаря их вмешательству я смог проскочить роковой заслон внутренних рецензентов и обратить на себя внимание более доброжелательных работников редакций.

Но я не скажу всей правды, если умолчу о том, что впоследствии, когда я вступил в Союз писателей, мне тоже стали давать подрабатывать на внутреннем рецензировании. И я тоже резал немало слабых или «непроходных» рукописей. Не может быть оправданием для меня и то, что в нескольких случаях я написал положительные рецензии на вещи из самотека, которые были действительно хороши, но, увы, малопроеходимы. Редакторы сдержанно пожимали плечами, знакомясь с моими положительными отзывами, и ничего из рекомендуемого мною ни разу не напечатали.

Книги-2

Уже рассказано Михаилом Булгаковым в его незаконченном «Театральном романе», какими странными мистическими обстоятельствами сопровождается порой выход книги. Хочется и мне рассказать историю двух своих книг. Речь пойдет о первом моем сборнике «Голубой остров» и о романе «Белка». Между выпусками этих книг лежат восемь лет, первая вышла у меня, как я уже говорил, в 1976 году.

Когда я принес свою рукопись в «Советский писатель», меня представили заведующему отделом прозы, грандиозной даме В. М. В., к которой у меня было письмецо от Владимира Германовича Лидина. Дама В. М. В. была грузная, черноволосая и разноглазая — никогда нельзя было понять, смотрит она на тебя или нет. Длинная пиратская прядь падала на тот глаз, которым она исподтишка рассматривала собеседника, а второй, широко открытый, равнодушно был уставлен куда-то в дальний угол кабинета.

— Ну что это рукописи приносят с какими-то рекомендациями, — пропела она замечательно нежным, совершенно неподходящим к пиратскому облику голосом. — А нельзя ли было принести без рекомендательного письма? — спросила она, быстро прочитав записку Лидина.

Я ничего не понял. Во-первых, был очень взволнован, а во-вторых, никак не мог уловить ее взгляда, по которому можно было бы судить, шутит она или и впрямь недовольна, что я пришел с письмом Лидина... Однако голос ее был щебечущим и льющимся, что ж, решил я, это она дает знать, что хоть и уважает известного мэтра, но будет рассматривать мою рукопись безо всяких скидок... В большой редакционной комнате стояло несколько столов, заваленных бумагами, и возле одного из них я обратил внимание на беседовавших — чернявую даму и молодого человека с залысынами, с румяными губами. Это и был, оказывается, мой будущий первый в жизни редактор (которого назначит В. М. В. вести мою книгу) — досточтимый Николай Иванович Сарафанников. В последующие годы мне пришлось выпустить с ним в том же издательстве еще две книги и запустить в производство роман «Белку». Затем Сарафанников исчез из моей жизни... Но об этом чуть позже.

С первых же шагов на пути издания книги я усек, что надо шагать и действовать «по человекам». В издательстве, в редакциях нужно было

точно определить и «отстрелять» тех работников, от которых зависела судьба рукописи. То есть необходимо было искать выход на них, затем вступать в контакт и в дальнейшем дело повести таким образом, чтобы необходимый работник редакции стал бы содействовать дальнейшему прохождению рукописи. Или не мешал бы этому, если писанина твоя ему не нравится, попросту не вмешивался бы в процесс. Необходим был момент интимного соприкосновения взаимных интересов просителя-автора и благодетеля-редактора. С редактором нужно было сблизиться во что бы то ни стало. С ним надо было подружиться и сделать ему что-нибудь приятное. Например, придумать какой-нибудь хороший подарок.

А что я мог подарить своему благодетелю при том, что уже многие годы балансировал на грани бедности и нищеты? Однажды мне приснился сон, что я обнаружил в себе необычное шестое чувство — и это было чувство отсутствия денег.

Я так и не научился как следует считать деньги, не умею их расходовать рационально и не способен быть бережливым. Проклятые деньги, как только появляются у меня в достаточном количестве, мучают мою душу и не приносят никакого успокоения. Мне хочется скорее истратить их на что-нибудь, и я строю всякие планы, иногда самые безрассудные. Так, я задумал, когда стал зарабатывать кое-что литературой, выстроить каменный дом в лесу, на берегу озера. По бездорожью я завез туда на нанятых тракторах и грузовиках многие тысячи кирпичей, тонны цемента...

Однако и в ту крутую пору, когда денег совсем не было, я вовсе не стремился их зарабатывать, об это не думал. Угощать в ресторанах редакторов я не мог, делать дорогие подарки, как было уже сказано, было мне не по карману. Единственное, что я мог позволить себе в качестве подарка, — белые грибы, которые сам собрал в лесу и сушил своим способом, научившись у одной деревенской старушки.

Когда постепенно выяснилось, что с меня взять нечего и что я отношусь всего лишь к не очень влиятельному кругу старого Лидина (который лет двадцать назад был, может быть, весьма влиятельным), начались проволочки. Мне никак не давали договора, и книгу не включали в план издательства. А я уже чувствовал, что дошел до предела и нет никакого дальше резерва душевных сил. Мутным облаком застилала мне глаза тоска погибели.

С этим я и пошел на прием к В. М. В. Я плохо помню, что и как я говорил ей, неплохому, в сущности, редактору, но мне удалось убедить ее в том, чтобы она заключила со мной договор, выплатила аванс и поставила

рукопись в план следующего года выпуска... Не помню, как все это решилось, помню только, что бедняжка В. М. В. страшно перепугалась, налила из графина воды и подала мне стакан, произнося тонким, дрожащим голосом: «Успокойся, Толя! Пожалуйста, успокойся! Ну зачем же так волноваться!» На что я ответил: «Если книга не выйдет, мы погибнем, я и моя семья... Вы теперь знаете об этом».

И книга сдвинулась с мертвой точки и пошла дальше. Начались встречи и беседы с редактором. Николай Сарафанников был человеком с неординарной судьбой, но об этом я узнал позже. А в том далеком семьдесят четвертом году я впервые увидел этого человека в старом здании «Советского писателя» в Гнездиновском переулке еще совсем заурядным, благопристойным, манерным юношей, с ясными, невинными глазами, с мягкой, интеллигентной улыбкой на румяных устах... Этими глазами и улыбкой он обращался к близко стоящей перед ним накрашенной даме. Руки при этом Николай Иванович держал сложенными вместе на своей груди, как оперный тенор, и это выглядело также весьма пристойно и благообразно...

Первый редактор — как первая любовь, и она не забывается. Коля Сарафанников был по образованию специалистом по датскому языку. Каким образом он стал редактором в «Совписе», мне неизвестно. Он познакомил меня с другим своим автором, будущим известным писателем Маканиным, с которым у меня сохранились добрые отношения до сих пор. Коля Сарафанников стал бывать у меня дома, приглашал я его и на первую в своей жизни дачу, которую снимал в подмосковной деревне.

Очень скоро отношения наши стали настолько доверительными, что он признался мне: редактора его не привлекает, он чувствует себя не очень уверенным на этой работе. «Ну какой я редактор, Толя?» — это его слова. Тем не менее я считаю, что он-то и являлся хорошим редактором. Ни разу он не вмешался в мои тексты, не «улучшал» их, не навязывал свои вкусы. И впоследствии, когда я в том же издательстве запускал свою вторую книгу, Коля доверил мне написать положительную редакторскую рецензию на мою же собственную рукопись... Что было, разумеется, делом недопустимым. Однако он честно признался, что у него нет времени да и большого желания читать рукопись и сочинять редакторское заключение — пусть за него это сделаю я сам, он мне полностью доверяет. Первая же книга, несмотря на благополучно преодоленные препятствия, проходила в дальнейшем препятствия новые, не менее опасные. Об одном, беспрецедентном, расскажу сейчас. Книга была уже на стадии «сверки», второго типографского набора, когда к главному редактору издательства

пришел донос, что они в «Совписе» собираются выпустить чуждую по идеологии книгу, то бишь мою. И главный редактор тотчас назначил так называемое «контрольное чтение». То есть в отделе «главной редакции» (еще одна инстанция, стоявшая надо всеми отделами издательства) был назначен редактор, чтобы он просмотрел всю книгу заново и сделал свое заключение.

Признаться, я снова заволновался. Кто мог донести на меня (до сих пор не знаю этого)? Позвонил и все рассказал Владимиру Германовичу Лидину. Он поначалу и верить не хотел: не бывало такого никогда. Но затем попросил меня узнать, кому конкретно поручено осуществить «контрольное чтение». Когда я узнал и сообщил Лидину, он обрадовался: мол, хорошо знает человека, это тонкий критик и литературовед. И мой старый профессор обещал позвонить ему. Через некоторое время раздался и у меня звонок — звонил мой «контролер». Он поздравил меня с хорошей первой книгой и добавил, что читал ее внимательно, с карандашом в руке, и нигде ни разу его редакторский карандаш не поднялся для исправления. Однако по содержанию самой большой моей вещи, повести «Собиратели трав», у него были сомнения: пройдет ли цензуру? Осторожности ради он предложил мне изъять повесть из сборника.

Но я ответил ему, что не вижу книги без повести. Она была самым лучшим, к чему я пришел к тому времени в прозе. Я сказал, что, если он позволит мне, я готов рискнуть и оставить в книге «Собирателей трав» без всяких изменений. На что критик, вздохнув и выдержав осторожную паузу, ответил: «Ну что же... Смотрите сами. Я подпишу книгу...»

Я рискнул — и книга вышла целиком. О, я помню, какое у меня было волнение, когда я получал на книжном складе издательства пачки с экземплярами первого моего сборника. Как потом вез их в такси домой и на радостях подарил таксисту книгу с первой в моей жизни авторской надписью на титульном листе...

Каждая книга — это приключение. Хочется рассказать еще об одном большом приключении — о моем первом романе «Белка», который переведен теперь на разные языки в пятнадцати странах.

Однажды Николай Сарафанников вдруг сказал мне нечто необычное: «Напиши, что тебе захочется. А я это сумею издать». Как раз к тому времени у меня уже вышли три книги, и последняя была толстенной книгой переизданий, вышедшей тиражом в 150 000 экземпляров. У меня были средства, чтобы рискнуть: можно было год писать, ничего не зарабатывая. И ровно год я писал «Белку». Когда я принес рукопись в издательство, мой редактор быстро и умело провел ее через все стадии

внутреннего рецензирования, написал свое заключение, вставил в план, сдал в набор. Одного только он не сделал — не прочел рукописи. Вернее, он честно, как и всегда, признался мне, что прочитал примерно страниц сто, дальше времени не было... Что ж, я не стал обижаться, но мне было беспокожно. Потому как знал, что написал почти невозможную для издания книгу. Я полагал, что редактор увидит все сомнительные в цензурном отношении места и посоветует мне, как с ними быть. Я-то писал эти места только с одной целью, с одним желанием — хотел испытать себя на полную творческую свободу. Я старался писать без оглядки на будущую цензуру и посмотреть, на что я окажусь способным... Но вот незадача — редактор все пропустил, даже не прочитав рукопись до конца...

Причина подобного его поведения вскоре выяснилась. Коля задумал эмигрировать из Союза, женился на француженке — и вскоре оказался в Париже. Но перед этим он почти все исполнил так, как обещал. Однако, когда верстка пришла, мне назначили нового редактора. Он прочел, пришел в ужас и тотчас доложил начальству. В результате набор рассыпали.

Но я не хотел сдаваться и переработал роман. В нем уже не было явных цензурных «непроходимостей», однако и в этом виде «Белка» выглядела достаточно чужеродной, скажем, для отечественной романной прозы — и по форме, и по содержанию.

В то время главным редактором «Советского писателя» стал Игорь Бузылев, светлая ему память. Он умер молодым, вскоре после выхода моего первого романа. Бузылев был одним из редких редакторов в нашей системе книжного издательства, который имел свои личные убеждения и придерживался их в жизни. Будучи уже смертельно больным, он принимал меня в своем кабинете, в новом здании «Советского писателя» на улице Воровского, и перекрестил новый вариант рукописи «Белки», прежде чем подписать ее для набора.

Но и на этом приключения «Белки» не закончились. Кто-то опять донес на меня, и на этот раз не в главную редакцию, а сразу в Госкомитет по делам печати. Оттуда пришел запрос на рукопись, ее отправили, а потом вернули в издательство в сопровождении двух документов. Одним из них была весьма злая отрицательная рецензия на роман с предложением не издавать его, пока он не будет вновь переписан и исправлен. Второй документ был письмом заместителя председателя Госкомитета директору издательства «Советский писатель» с советом прислушаться к мнению рецензента и допустить рукопись к изданию только после всех соответствующих исправлений.

Но дело это происходило в летнее время, когда работники издательства

уходили в отпуск, и папка с рукописью и с грозными документами не попала на стол к директору. Эта папка была вторым экземпляром — первый уже находился в типографии. Возвращенную из Госкомпечати папку секретарша издательства положила, даже не раскрыв, на полку рукописей второго экземпляра, откуда я ее забрал и унес домой... Я ничего не знал об этом контрольном чтении и был потрясен, увидев дома опасные для меня документы. Подумав немного, я решил не спешить с возвращением документов в дирекцию издательства. И, мне кажется, правильно решил: книга вышла, имела большой успех в стране, была потом переведена на многие языки мира.

Союз писателей

Надо было вступать в Союз писателей СССР, потому что свободная профессия в стране была немыслима вне профессиональных союзов. Не состоящие в них художники, композиторы, писатели и поэты считались безработными, а точнее, «нигде не работающими», и могли быть причислены к «тунеядцам» и даже преследоваться по закону, если на то была воля властей предрешающих. Итак, надо было собирать рекомендации от двух-трех членов СП, подавать заявление и ждать решения своей участи. И в 1979 году я был наконец принят туда, вся процедура длилась около двух лет. Отныне я мог: а) нигде на службе не состоять; б) пользоваться льготными путевками в дома творчества; в) встать на очередь для улучшения жилищных условий; г) встать на очередь для приобретения автомобиля; д) посещать Центральный дом литераторов в Москве. Словом, привилегий было много, и я не преминул ими воспользоваться. «Союзписательское» существование вывело мою жизнь на новый уровень и придало ей совершенно другой характер. Я перестал быть одиноким волком, приобщился к привычкам литературного социума своего времени. Я начал обретать вкус и стремление к благополучному существованию. Незаметным образом происходило в моей душе некое значительное изменение, суть и смысл которого откроется мне намного позднее — именно в эти дни, когда я пишу повесть о себе.

Я уже рассказывал, что в молодости под влиянием Льва Толстого задумал прожить свою жизнь, не заедавая чужого века, что подлинным трудом человеческим надо считать труд физический, а всякую умственную деятельность, в том числе и писательство, обеспечивать за счет именно подлинной работы. Меня привлекала возможность большей внутренней свободы при подобном подходе к писательской деятельности. Но чтобы писать в высшей степени внутренней свободы, нужно было принять одно условие: никогда не пытаться напечататься. Я не выдержал этого условия. Я захотел печататься и стал это делать — потерял ли я творческую свободу из-за этого? И наконец удалось ли мне в действительности написать такие книги, какие я хотел написать в одинокие годы своей молодости?

Бог весть. Иногда мне кажется, что я написал действительно хорошие, честные книги. А в другой раз холодею при мысли, что я слукавил, пойдя на компромисс с суровой действительностью. И самым правильным, может быть, было бы то, что когда-то порешил мой юношеский максимализм:

писать только в стол, никогда не пытаться получить признания — и так до самой смерти. Когда же она приблизится, надежно захоронить рукописи или сжечь их на костре, развеяв пепел по ветру...

Примерно так и поступил, говорят, мой далекий предок Ким Си-Сып, великий поэт и прозаик средневековой Кореи. Он замуровал свои рукописи в стену дома, и лишь через сто лет нашли их. И это были абсолютно свободные произведения. Но у меня ничего не вышло. Творческая свобода, которой я дорожил больше всего, была заменена осторожной мудростью. И, о чем бы я ни писал, какую бы привлекательную форму ни находил для своих писаний, я в них не достиг, очевидно, всей глубины творческой свободы. Наверное, такое произошло бы в случае, если бы душа моя сгорела во время работы и мозг мой умер от непомерного напряжения.

Однако я захотел соединить стремление жить, просто жить достойным образом, с желанием писать и издавать книги. Пройдя через искушение многих лет, мрачно освещенных тусклым светом одиночества, мой художнический экстремизм благополучно переродился во вполне легальную и приемлемую борьбу по правилам. Отшельник покинул свою пустыню. Он вступил в Союз писателей. Пожалуй, то было время полного расцвета этой государственной литературной корпорации, сиречь министерства, и главные фигуры СП, его функционирующие и почетные секретари, были всемогущими литературными грандами, славными, богатыми, очень влиятельными в обществе. Они были малодоступны для рядовых членов писательского союза и вели совершенно обособленную жизнь, впрочем, как и все номенклатурные работники государственной системы. Для них существовали отдельные места отдыха, у них были дачи в Переделкине под Москвой и в разных курортных местах по всем республикам СССР. Мы могли лицезреть этих грандов только в дни съездов и пленумов, когда небожители величаво восседали за красным столом президиума.

Я так и не изучил всех градаций и структурных соединений этой колоссальной бюрократической машины, мне только стало ясным одно — Союз писателей в точности повторяет все те общественно-государственные механизмы, которыми обеспечивается жизнедеятельность величайшей имперской машины. И никакого положительного влияния на то сокровенное, хрупкое, сугубо индивидуальное начало, каким является художественное творчество, Союз писателей не имеет. Наоборот — если и влиял Союз на творческий процесс, то самым пагубным и тлетворным образом.

Молодой литератор, удостоенный быть принятым в эту организацию,

получив вожденную членскую книжечку красного цвета, сразу начинал с активного освоения тех социальных привилегий, которые давало членство. Он принимался азартно бегать по инстанциям канцелярий, добиваясь новой квартиры, постановки в очередь на машину, поездки в интересную командировку, получения путевки в Дом творчества в крымском Коктебеле или в прибалтийских Дубултах. Скажем, удавалось молодому литератору в курортный сезон попасть в Дом творчества на черноморском побережье. С волнением вступает он, таща в руке дорожный чемодан, под своды фешенебельного (или желающего выглядеть таковым) писательского пансионата. Вселяется в комнату. Идет на первый свой ужин в общую столовую. И видит блистательную ассамблею дам и господ в курортных нарядах. И все это, надо полагать, известные и даже очень известные писатели, поэты, критики, драматурги многонациональной советской литературы. Голова идет кругом у молодого и совсем еще малоизвестного писателя. Начинаются знакомства, приятные беседы за бутылкой местного вина, совместные выходы на пляж, купание, прогулки в горы. Вдруг какой-нибудь очень знаменитый поэт обращает на тебя свое благосклонное внимание, удостаивает беседой или даже приглашением в свой номер люкс на вечеринку. А то вдруг какая-нибудь поэтесса, не столь знаменитая, но весьма пикантная и еще не старая, предлагает совершить экскурсию в ближайший винный кабачок. И идет кругом голова, и экскурсии все множатся, и творчество, ради которого молодой литератор пересек полстраны, как-то не приходит на ум.

Зато он попал в респектабельную литературную среду, в которой отныне будет благополучно обкатываться, обкатываться — и примет наконец ту правильную округлую форму, которая поможет ему легко катиться по жизни. Появятся новые привычки, пристрастится он к вечерним посещениям ЦДЛ, где постоянно стоит дым коромыслом от табачного смрада, гул хмельных голосов, замечательные дружеские застолья с объятиями, пьяными поцелуями вперемежку с громогласным чтением стихов и внезапно возникающими драками.

Через все это и я проходил, и моя жизнь в профессиональной среде не была и не могла быть иной. Как-то я читал у одного американского писателя, что существование нью-йоркской художественной богемы сравнимо с трагическим положением червей, заключенных в стеклянную банку, где им нечего есть и они должны питаться друг другом. Мне не хочется быть столь же беспощадным и жестким, однако, в сущности, мой американский коллега нарисовал похожую картину, какую мог наблюдать и я. Я никак не предполагал, что действительность за воротами рая,

называемого Союзом писателей, окрашена в inferнальные тона и явно отдает алкогольно-серным духом подпаленных грешников. Нигде я не видел столь масштабной картины многолюдного пьянства, как в буфетах и ресторане славного ЦДЛ где-нибудь после девяти часов вечера. Почему литераторы безобразно и откровенно напивались в своем клубе? Должно быть, от хорошей жизни. Слышал я, что раньше в ЦДЛ была совсем другая обстановка, царил респектабельный клубный порядок, и классики советской литературы не дебоширили в знаменитом дубовом зале ресторана. Но в мое время, когда и я стал захаживать туда, пьяный гул уже стоял до небес и картина вакханалии была постоянной. Почти непьющий человек, от природы робкий и незагульный, я поначалу чувствовал себя довольно неуютно. Но постепенно привык и время от времени стал посиживать за каким-нибудь бражным столом, а однажды и сам уснул в кругу незнакомых корреспондентов «Литературной газеты», привалившись к спинке стула и уронив голову на грудь. А когда проснулся, некий грузинский литератор произнес следующий тост: — А сейчас я хочу выпить за хорошего человека, за нашего дорогого гостя... Только очень хороший человек может так сладко спать за столом среди незнакомых людей...

Разумеется, не только пьянством занимались в Союзе писателей. Время от времени проводились писательские съезды и пленумы правлений писательских организаций. Меня довольно скоро включили в число членов как Всесоюзного правления, так и Российского и в правление Московской организации. То есть я был выделен из рядового уровня и вознесен на более высокую ступеньку союзной иерархии. И меня уже стали вносить в списки делегатов писательских съездов. Таким образом, мне даже пришлось бывать и в Кремле, где проводились в то время съезды СП СССР.

Так продолжалось у меня до последнего, кажется, VIII съезда писателей. В том году вышла «Белка», и, когда роман был уже оттиражирован и поступил в магазины, вдруг мне сообщили в издательстве, что Государственный комитет по печати назначил у себя ведомственное обсуждение моей книги, на которое вызываются редакторы издательства и автор. В редакции поднялась паника — ведь это означало, что в Госкомитете остались крайне недовольны изданием и предстояло судилище.

Но тут мне опять повезло. В том году предстоял юбилей Союза писателей, пятидесятилетие со дня его основания, и под это дело большое количество писателей, около трехсот человек, было награждено правительственными орденами разных степеней. В газетах обнародовали

списки награжденных, среди них был назван и я, удостоенный ордена «Знак Почета». Это был самый «младший» из орденов, но награждение исходило от правительства — высшая государственная инстанция отметила меня. И обсуждение моего романа Госкомиздатом само собой отменилось. Вновь «Белке» удалось проскочить через опасное препятствие.

Но и на этом ее приключения не закончились. Подступил тот самый исторический VIII Съезд писателей СССР — потому исторический, что последний. Но об этом еще никто не подозревал, и торжественное собрание в Кремле открылось с той же помпезностью, что и всегда, и так же работал знаменитый, колоссальных размеров кремлевский буфет, и был торжественный банкет... И я там был, и мед пил... Но вот что произошло в самом начале съезда, когда Первый секретарь СП СССР товарищ Марков зачитывал свой доклад...

Вначале Марков говорил обычные казенные торжественные слова, благодарил партию и правительство. Потом стал говорить о выдающихся успехах многонациональной советской литературы и зачитал длинный список особо отличившихся писателей. Их было немало, оказывается! Справившись с этим, докладчик перешел к отдельным неудачам, имеющим место быть в общем стройном, правильном литературном процессе. Одной из первых неудач было названо произведение уважаемого Виктора Астафьева — речь шла о повести «Печальный детектив». Затем Марков глубоко вздохнул, помолчал и вдруг произнес мое имя и назвал роман «Белка»... Но что-то мешало ему говорить дальше, и докладчик опять замолчал. Были ясно слышны глубокие вздохи Первого секретаря. Но вот он вроде справился с собою и снова стал докладывать, опять назвал мое имя — и окончательно смолк. Тут к трибуне подбежали какие-то люди и бережно увели под руки внезапно заболевшего докладчика...

К трибуне выскочил В. Карпов, бывший разведчик, Герой Советского Союза, и, как говорится, подхватил знамя на лету — стал читать дальше доклад вместо выбывшего из строя командира. И уже без всяких затруднений Карпов решительно зачитал слова о том, что в «Белке» есть что-то чужое и наша действительность освещена в романе как-то не нашему...

Маркова увезли прямо со съезда в Кремлевскую больницу, а я еще во время чтения марковского доклада Карповым стал получать записки. Мои коллеги поздравляли меня с прекрасной рекламой, которую сделал мне на весь мир докладчик. А один шутник тут же пустил по кругу шутку: мол, Киму показали желтую карточку, а Маркова унесли с поля. Надо сказать, что почти в те же дни проходил чемпионат мира по футболу и у всех на

устах были общеизвестные футбольные словечки и выражения.

Но не только чемпионат по футболу был предметом мирового внимания.

Приближался тогда небывалый и неожиданный для всего мира и для нас самих процесс в стране, который назовут впоследствии «перестройкой». Затрещали скрепы и подпорки «русского коммунизма» — взошла к вершине власти странная и загадочная фигура Горбачева.

Деревня

Впервые о Михаиле Горбачеве я задумался глубокой осенью восемьдесят какого-то года, уже во второй половине десятилетия — и вот при каких обстоятельствах. Я к тому времени уже давно освоил жизнь в русской деревне — осенью 1976 года купил избушку в Мещерском краю, темную заколоченную развалюху, и с годами постепенно довел ее до ума.

Все свои книги, кроме первой — «Голубой остров», — я написал там, в маленькой деревушке Немятово. Как сейчас понимаю, это было самое благополучное и счастливое время моей творческой жизни. Я со своим корейским семейством впервые появился в тех лесных рязанских краях представителем чуждадельного племени, какого еще не выдывали местные люди. Когда я однажды зашел в магазин, ко мне подошла маленькая сухонькая старушка, делегированная толпою других старушек, и спросила: «Парень, а парень, ты яврей, что ли?» Я отвечал, что я кореец, — о таковых старушка, очевидно, ничего не слыхала, это было видно по ее глазам, светлым, выцветшим, с детским, безмятежным выражением...

Однако глубокой осенью во время своей очередной добровольной отсидки в деревне я зашел по какому-то делу к старухе Матрене. Это была довольно крупная, равномерно округлая и морщинистая, словно моржиха, деревенская бабка, обычно молчаливая и угрюмая, но иногда и шумная, оравшая зычным трубным голосом. В этот вечер, еще ранний по времени, но уже совершенно темный — ночь наступала где-то часов в пять — Матрена сидела одна за маленьким кухонным столиком у окошка, завешенного белой занавеской. Приземистая, сутулая — голова ушла в широкие плечи, бледное лицо обращено ко входящему в дом, темные блестящие глаза с неожиданным живым и ласковым выражением смотрят на него — старая женщина как будто ждала моего прихода. Но ничего подобного быть не могло, мы не договаривались о встрече. И вот я смотрю — на простенке между окнами прямо к темному бревнышку сруба прикреплен портрет, вырезанный из какой-то газеты. На портрете — Михаил Сергеевич. Это было время, когда Горбачев только-только стал генсеком.

Я был весьма удивлен: с чего это Матреша повесила в своей пустой, убогой избе портрет Горбачева? У нее погиб взрослый сын — пьяным утонул в реке. Муж давным-давно погиб на войне. Дочь, такая же угрюмая и полнотелая, как мать, ушла от мужа с двумя детьми и жила в казенной

квартире при совхозной почте (эта несчастная дочь впоследствии, уже много времени спустя после смерти матери, покончит с собой, повесится в пустом материнском доме). А старая Матрена сидела возле портрета Горбачева и с живой улыбкой в черных глазах смотрела на меня. И взгляд ее был весьма похож на знаменитый улыбчивый взгляд великого русского реформатора-разрушителя.

— Зачем ты прилепила его, Матрена Михайловна? — спросил я, показывая на портрет.

— А уж больно мне понравился, — тотчас ответила Матрена, будто ждала, когда придут и спросят именно об этом.

— Чем же понравился?

— Очень хороший человек.

— Почему хороший?

— Такой молодой, симпатичный...

Более веских доводов я от Матрены не дождался. Но все же ясно ощутил, что в душе этой бедной старухи поселилось мистическое любопытство к новому царю-батюшке. Да я и сам думал, что пришел к власти некто необычный и можно ожидать каких-то невиданных перемен. А может быть, все эти ощущения и предчувствия в связи с приходом Горбачева были не чем иным, как отчаянным всплеском надежды на то, что в нашей разлагающейся от всенародной лжи и государственного сволочизма стране может появиться нечто спасительное — надежда на чудо... Уже около десяти лет я просидел в этой деревне, правда, больше в летнее и осеннее время года — жил здесь для того, чтобы писать, работать вдали от всякой городской суеты, в стороне от чудовищной несурязицы общественной жизни. Как раз было время правления кремлевских старцев — зловещая чехарда смертей престарелых генсеков.

Народу советскому тошно стало от частых смертей своих вождей, поэтому он так и обрадовался, когда появился на нашем траурном небосклоне молодой Горбачев. Мишка-меченый, как мгновенно прозвали его в народе.

И вот старая Матрена, у которой отняли все ее человеческое достоинство и само упование на счастье в жизни, взамен оставив ей непреходящее горе, бедность и скотскую униженность существования, — несчастная крестьянка востепенулась в призрачной надежде и обратила взор на вырезанный из газетного листа портрет нового царя-батюшки.

Историкам еще предстоит разобраться в феномене этой личности. Что его сподвигло, каким образом появился на исторической арене этот человек, с именем которого связано разрушение мировой

коммунистической системы? Лично меня также интересовал этот человек — и прежде всего тем, что у него было нормальное человеческое лицо с живыми, блестящими глазами. Вот уж действительно — социализм с человеческим лицом! Впервые облик верховной власти имел такой вид — вспомнить только, насколько жуткими, словно маски для зловещих фарсов, были физиономии кремлевских тиранозавров.

Мне не пришлось принимать участия ни в перестроечных общественно-государственных кампаниях, ни в других, более поздних, так называемых процессах демократических преобразований. Многие из писателей, очень известных и популярных, с головой окунулись в нахлынувшие мутные волны новой демагогии, стали политиками регионального значения или даже постепенно закрутились в самой воронке государственной власти. Власть приближала к себе знаменитых, чтобы перед лицом всего народа они поддержали ее. И знаменитости наши охотно шли на призыв.

Сам же я все эти годы перестройки большей частью просидел в глухой мещерской деревне. Наступило в моей жизни время самой продуктивной работы. В деревне я написал все свои романы, новые повести и рассказы, пьесы и киносценарии. Меня печатали самые престижные толстые журналы, ежегодно выходили за границей мои книги в переводах. И весь этот личный мой успех и процветание происходили на тоскливом фоне умирания старой русской деревни, где я писал эти книги.

Как-то так случилось в моей жизни, что я хорошо узнал и полюбил то, что уже умирало и как бы смиренно укладывалось, собрав остатки сил, в тишину последнего покоя. Русская деревня явила мне истинное сердце народа, и я навеки восхитился им и ужаснулся безмерно. Все умные книги, все русские философы и писатели, сам Лев Толстой или Достоевский — ничто и никто не открыли мне столько, сколько открыла жизнь в маленькой деревушке в лесной рязанской глуши. И именно в деревне произошло мое подлинное рождение в русском языке — там начало моего существования как русского писателя. Универсальный закон Вселенной — чтобы родилось существо, необходима любовь, а чтобы полюбить, необходимо узнать предмет любви. Я хорошо рассмотрел и узнал душу русской деревни, полюбил ее самым отчаянным образом, и от этой любви родилось полноценное дитя моего художественного слова. Но великая печаль была изначально в этой любви.

Когда я впервые появился в Немятове, там было еще шесть смешных и милых девчонок от десяти до пятнадцати лет — последних деревенских детишек. В самую первую мою осеннюю отсидку девчонки повадились

заходить ко мне, отнюдь не дожидаясь моего приглашения, приходили всем скопом, устраивались кто где может и с любопытством тарасились на меня. Немного освоившись в этой ситуации, я попросил их приходиться ко мне в гости после четырех, когда я заканчиваю работу. Предложение мое было принято, и ровно в четыре на старом крыльце моей избышки раздавался жизнерадостный топот множества ног. Девчонки приносили молоко, соленые грибы, я угощал их бутербродами, кофейком. Они затапливали старую русскую печь, пекли картошку, пытались печь блины. Однако блины почему-то не получались у них, разваливались... Натешившись хозяйствованием, разогревшись едой, девчонки скидывали валенки и лезли на печь, отпихивая друг дружку и давясь от смеха. На печи была совсем маленькая лежанка, где можно было с трудом устроиться одному-двум. Даже сидеть там было невозможно — голова упиралась в темные доски потолка, ее нужно было низко клонить, чтобы не стукнуться о балку. Мои гости напихивались туда всей компанией и как бы дышали и хихикали единым телом, надувались беспричинным весельем. И вдруг это тело распадалось, летело с печи по одному кусочку, махая тонкими руками-ногами. Обычно самыми первыми слетали на пол тощие легковесы Лидка Комарова или Ольга, а последними оставались на лежанке или Ленка, самая упитанная и нахальная, или Марина, самая старшая, или Лида Кузнецова, самая рослая...

Через несколько лет немятовские девочки одна за другой исчезли из деревни. Кто уехал в Москву или в Рязань учиться, кто — замуж в соседнюю деревню. А Лида Кузнецова погибла где-то вдали от дома, говорят, бросилась под поезд. Но, еще учась в школе, в старшем классе, она совершила попытку самоубийства — прыгнула в колодец. Там оказалось мало воды... Что за страшный рок висел над этой несчастной девочкой, что за проклятие? Рыжеватая, зеленоглазая, статная и женственная не по возрасту, Лида была так привлекательна... И вскоре деревня осталась совсем без детей. Летом внуки из городов еще жили у своих бабушек, а на зиму родители увозили их домой. В деревне уже никого не было, кто оказался бы способен произвести детишек. Зимовать оставались одни старики и старухи, да несколько семейных пар более молодого, пенсионного или предпенсионного возраста, да ненормальный бобыль Леонид со своей ненормальной сестрой Зиной, оба инвалиды на государственном обеспечении.

У меня сложились неплохие отношения с некоторыми деревенскими старухами. Очевидно, взаимное бескорыстие в смысле пола и чистое любопытство в смысле души придали нашим отношениям некую

неизъяснимую прелесть. Я оставался в деревне до глубокой осени, иногда и до зимы. В окоянную пору, когда ночная темень наваливалась уже в пятом часу дня, одиноким старухам в своих избах я представлялся, наверное, кем-то вроде посредника между смертной мглой, постепенно поглощающей их, и спящим миллионами электрических вспышек светом цивилизованной жизни, куда уже никогда, конечно, им не выбраться, — всем этим Настям, Марфам, Матренам, Пелагеям и Маринам, Липам, Надежкам и Ньюрам, Зинкам, Дуськам и Верочкам...

Все они остались без мужей еще с войны, тогда им было около тридцати лет, с тех пор прошло еще лет сорок... И за все это время еще ни разу не было такого, чтобы в деревне оставался на зиму одинокий мужик да еще и столь экзотической наружности.

Словом, было о чем подумать старухам, когда они в раннюю темень ноября заваливались в свои одинокие, словно могилы, привычные вдовьи постели. И я тоже думал о них, когда после работы и раннего ужина — он же сразу и поздний обед — залезал на теплую печку. Ибо не может быть такого, чтобы одинокие женщины и одинокие мужчины в забытой Богом деревне не думали друг о друге в осеннюю темную ночь. Когда никак не спится, потому что еще очень рано для сна, и за окном где-то в темной утробе ночи воет собака и дождь шуршит по стеклу. Не знаю, каковы были думы старух, но мои были такого рода, что почти каждую из них я мог бы полюбить за чудесную привлекательность, чистоту и прелесть их женских натур. С каждой из них я смог бы, наверное, разделить продуктивное время своей жизни, если бы, к сожалению, оно не началось лет на тридцать после их продуктивного времени.

Днем деревенские соседки иногда навещали меня — то Настя принесет молока или кусок гусятины в рукаве, то Марина притащит банку тернового варенья, то глухая Полечка придет и поставит на крыльцо миску с белыми куриными яйцами... И я их навещал, когда мне не работалось.

Обходя старушечьи избы, я вдруг стал понимать, что удивительным образом вид жилища и в особенности его внутреннее убранство соответствовали характеру каждой из деревенских дам и хорошо выражали затаенные упования и заветные идеалы. У одной вдруг обнаруживал я на ее старинной деревянной кровати превосходные лоскутные одеяла самых радостных расцветок, сшитые ею самой, у другой на чисто вымытом некрашеном полу красовались полосатые самотканые дорожки — такого вида и качества, что душа радовалась. У третьей все стены были обклеены картинами русских и нерусских художников, всех времен и всех направлений, вырезанными из журнала «Крестьянка». У этой же

любительницы изобразительного искусства на самом видном месте, в простенке между окнами, был прибит большой китайский плакат с нежно-румяной красавицей-феей, которая взмахивала веером и пристально, загадочным китайским взглядом смотрела тебе в самые глаза. Но, несмотря на разницу вкусов, порой даже очень существенную, интерьеры жилищ моих деревенских подруг единила одна общая, у всех одинаковая и бесконечно грустная бедность.

А вскоре деревенские мои подружки стали одна за другою умирать. Не мор или эпидемия нашли — нет, наступал для каждой ее час. Первой при мне ушла Настя, та, что приносила кусок гусятины в рукаве, — я его запек с яблоками в русской печке, о, какой чудный аромат стоял у меня в избе в тот раз! С Настей мне удалось попрощаться и даже проводить до кладбища — она умерла в те дни, когда я еще был в деревне. За нею ушла Надежка Жукова, соседка, потом Матрена, потом Марина Самарина, самая близкая из моих подруг. На несколько лет дольше прожила Поля-пищуха, самая горькая из горемык.

Так умирали не просто старые деревенские старухи — так умирала деревенская Россия, главная Россия, родительница и хранительница великих нравственных ценностей нации.

Небесная степь

В записках этих деревне отводится так много места потому, что десять лет самого продуктивного трудового возраста я проработал там, в маленькой избушке, сидя за колченогим некрашеным столом, оставленным в доме старой хозяйкой. Это было мое писательское убежище, скромное, бедное и, как теперь понимаю, самое прекрасное и счастливое для меня. Там были завершены мои повести «Луковое поле», «Лотос», там же были написаны рассказы, вошедшие в сборник «Вкус терна на рассвете». В маленькой избе, которую я купил у старухи Верочки, были начаты и закончены мои первые романы: «Белка» и «Отец-лес».

Можно сказать, Верочкина изба оказалась моей художнической кельей, а деревня Нямятово — писательской академией.

Душа моя с детства тяготела к жизни в деревне, и это прежде всего связано с тем, что мое ощущение жизни вблизи растений, животных и на свободной, не закатанной асфальтом земле было радостным... А жизнь в городе непременно загоняла меня в тоску, пробуждала в душе некое темное предчувствие грядущей катастрофы. И потому естественным и непринужденным был для меня творческий настрой в деревне, а в городе творчество подступало через преодоление чего-то тяжелого и гнетущего.

Самым трудным испытанием в деревенском отшельничестве осенью — зимою было испытание одиночеством. К осени деревня как бы совсем пустела и по вечерам погружалась в огромную единую тьму, над которой только в ясную ночь сверкали крупнозернистые огненные звезды или в одиночестве светила бессонная луна. Я выходил после рабочего дня на улицу, чтобы принести дров из сарая или воды из колодца. Оглядывая темную деревню, в которой иногда мелькало несколько случайных огоньков, я испытывал безмерную тяжесть одиночества. Вверху надо мною мерцали неисчислимыми огоньками черная бездна и бесконечность — необъятная небесная степь. Она была моей душой, и во всей звездной совокупности Вселенной вопияла гласом моего одиночества. И мне хотелось побежать к любому из светившихся огоньков этой ночи — постучаться в дверь любой избы, где находится кто угодно, лишь бы такое же, как и я, человеческое существо.

Одиночество скрашивали мои вечерние посещения дома учителя Николая Васильевича Федина, куда я ходил, стараясь делать это не каждый день, чтобы не надоедать людям. Жена хозяина, Тамара Михайловна, тоже

была учительницей, но уже на пенсии, у них жил-поживал внучок Пашка, которого подбросила им старшая разведенная дочь. Учителя жили вполне по-деревенски, крестьянским двором, держали скотину, птицу, откармливали поросенка, хозяин увлекался еще разведением кроликов и нутрий, которых в деревне называли «внутриями». Сад и огород у Федина были всегда в образцовом порядке, яблони плодоносили, садовая малина, крыжовник, смородина были «усыпанными», то есть усыпанными ягодами, картошки по осени накапывал он полный погреб. Учителя и их три дочери, которые все уехали и жили в Москве, были большие любители леса, грибники и ягодники, так что у Фединых всегда были на зиму большие припасы вкусных солений и варений.

Я ходил к Фединым в основном по вечерам, чтобы посмотреть программу «Время», которую смотрел и хозяин, и старался особенно долго не засиживаться, потому что они по-деревенски ложились спать рано. Тамара Михайловна уходила за перегородку и затихала там еще до окончания «Времени». Мы с Николаем Васильевичем посиживали перед горячей печкой, разговаривали кое о чем, потом я прощался и уходил. До моего дома надо было идти метров триста, не более, но в ночной темноте путь этот казался бесконечным и, главное, не очень желанным — возвращаться надо было в пустое и невеселое одиночество. Работа писателя оказалась для меня неожиданно трудной в связи с преодолением именно этого противоречия: необходимости уединения для благотворной сосредоточенности и моей душевной нерасположенности к одиночеству.

Но шли годы, и постепенно я стал привыкать к своему положению. Золотая цепочка моего творческого счастья благополучно продолжала коваться: деревня — лес — работа — новая книга. Дети мои росли, полюбили деревню, каждое лето были там со мною, и деревенская детвора приняла их как своих. У меня также сложились добрые отношения с деревенскими жителями. Я стал известным человеком в округе, мое деревенское прозвище было вначале Кореец, затем — Писатель. Появились надежные друзья. Но не всегда было так.

На втором году летом я впервые привез свою семейку в деревню... По приезде обнаружилось, что в доме нет такой необходимой вещи, как уборная. Надо было в срочном порядке соорудить нужник, и я по совету соседей созвал так называемую «помочь». То есть пригласил деревенских мужиков, чтобы они по-быстрому сообща сделали мне то, что было необходимо, а за это я должен был к окончанию работы выставить щедрое угощение. И вот пришли с топорами и пилами человек пять-шесть и за пару часов подняли на краю огорода классическое деревянное сооружение.

Яму под него я предварительно вырыл сам. Все произошло, на мой взгляд, славно и благополучно, водки я выставил в достаточном количестве, от пуза, мужики расходились по домам пошатываясь, с песнями. Но одному из них, Бурмистрову Ивану, угощение показалось недостаточным, и, уходя, он предупредил меня, что это не окончательный расчет и что я должен пригласить его еще. Мне такое заявление не понравилось, и я не стал его приглашать. Чем и нажил в нем врага.

Мужик он был дурной, с густыми чернущими бровями, с тяжелым, разбойничьим взглядом, жилистый, сутулый, как старый лось. По фронтовой инвалидности рот у него был страшным образом скошен на сторону, за что и прозвище деревенское было у него — Косоротый. Напиваясь, он устраивал в доме жуткие скандалы с мордобоем и хриплый ор на всю деревню. Люди деревенские боялись его и, когда он пьяным попадался навстречу, обходили стороной.

И вот сей молодец стал всякий раз, возвращаясь из магазина домой, останавливаться возле моей избышки и выкрикивать какие-то невнятные претензии и угрозы. Все бы ничего, если бы он не ругался страшно матом. Несмотря на дефект речи из-за инвалидности, матюгался пьяный Иван Степанович вполне внятно. А девочки мои были еще маленькими, и вместе с ними возле нашего дома всегда возилось много соседских детей. Я однажды разъярился и восстал, как говорится, на него — короче говоря, мы с ним чуть не подрались... Пришлось по телефону, который имелся в доме Федина, пожаловаться властям, и Бурмистрова вызвали в районную милицию. А у меня власти попросили письменного заявления, чтобы можно было хулигана отдать под суд.

Вся деревня молча следила за нашим конфликтом, не становясь открыто ни на чью сторону. Бурмистрова люди боялись, к тому же он был своим, а я пока что был непонятной фигурой — нерусский, черный, вся семья такая же, к тому же с начальством имеет добрые отношения, из района к нему приезжают разные уважаемые люди. Начальство я или нет, барин я или не барин?

Статус свободного художника, независимого от начальства и существующего сам по себе, был неизвестен этим людям. Мое положение в социальной иерархии оставалось для них невыясненным. Бояться меня или не надо бояться?

Никакого заявления в письменном виде я не стал подавать, и Бурмистрова, кажется, просто оштрафовали на некоторую сумму. С тех пор мы жили в деревне, как бы не замечая друг друга, и он больше не останавливался возле моего дома и не орал. Прошло года два — и вдруг

Иван Степанович заболел и стал умирать. У него обнаружился рак. Умирал он зимою, долго и мучительно, весь высох, говорят, и стал легким, как ребенок, жена на руках переносила его по дому. Перед смертью он стал посылать жену то за одним, то за другим — к тем, кого обидел, — приглашал к себе домой и просил у них прощения. Вспомнил и обо мне, но так как я находился далеко, то велел принести какую-нибудь мою книгу. Полистал, говорят, ее...

Не знаю, о чем он думал при этом, но знаю, что он простил мне и, может быть, в чем-то попросил и у меня прощения. Когда следующей весной я вновь приехал в деревню, люди рассказали мне про смерть Бурмистрова. И по тем чувствам умиленности и распахнутой доброты, которые они невольно проявили в разговоре, мне стало ясно, что я принят деревней, что я для них уже свой. И это было чрезвычайно дорого мне.

Слово

Пора настала определиться, чей же я писатель — русский или корейский. То есть мне хочется по-настоящему разобраться в самом себе, не имея в виду тех нелестных для моего самолюбия, порою весьма обидных высказываний некоторых литераторов, как русских, так и корейских, которые отказывались признавать меня за своего.

Да, и такое бывало! Один русский писатель, который смело может быть причислен к направлению «деревенщиков», так определил меня. Я отношусь к так называемым «русскоязычным» писателям и в этом виде навсегда останусь среди второстепенных, неродных.

Да что там деревенщик... Когда в 1989 году осенью я впервые попал на родину своих предков, в газете была опубликована моя беседа с одним маститым южнокорейским литературоведом, и он в лицо мне заявил, что Анатолий Ким никакого отношения не имеет к корейской культуре. Я и сам знал, разумеется, что пишу на русском языке, не на корейском, поэтому мои произведения относятся именно к русской литературе, и это великая честь — принадлежать к одной из самых значительных литератур мира. Однако царапнуло меня нечто тайное — по самому сердцу, и я что-то ответил своему собеседнику... Теперь уже совершенно неважно, как я там отвечал, однако стало ясным одно: меня и в России некоторые господа не признают за своего, и на исторической родине дают понять, что я чужой, посторонний... Так куда же мне деваться?

Смею уверенно предположить, что не только некоторые русские деревенщики и корейские литературоведы, но и все прочие «русскоязычные» литераторы могли бы назвать меня посторонним и на то имели бы убедительные аргументы. И вот я сам спешу привести их, чтобы освободить интеллигентные сердца от некоторых возможных уколов совести.

Я писатель не традиционный — и в смысле русской литературной традиции, и в отношении ориентального эстетического подхода. В своих произведениях я не старался выразить духовную сущность или русского человека, или корейского человека, или какого-нибудь другого «национала», хотя персонажами моих книг бывали и русские люди, и корейские, и немецкие, и американские, и японские, и так далее. Признаюсь, что, рассказывая о человеке, я никогда не ставил главной целью изобразить его национальную или социальную ментальность. Так

что же такое в человеке я отмечал, чтобы выразить это словами?

В начале было Слово... Я выражал то в человеке, что было в нем посеяно и возвращено через изначальное Слово. Имеется в виду слово не как фонетическая конструкция, принадлежность того или иного языка, а Слово в первоначальном, библейском, смысле.

В этом смысле Слово — не звуковой набор, понятный и привычный для русского или корейского уха, скорее что-то совершенно беззвучное. Слово такого порядка есть понятийный символ, который может быть выражен человеком даже через жест или пластическое изображение — иероглиф, а то и внушен взглядом. Глухонемой человек, не слыша звуков, прекрасно различает и воспринимает слова через систему знаков, по этой же системе он и «говорит». Одни и те же предметы, явления мира, понятия звучат на разных языках по-разному. Но изначальные слова, обозначающие это же самое, для всех одни и те же — и они никак не окрашены, не озвучены.

Язык незвучащих изначальных слов известен и принадлежит всему человеческому роду и не является прерогативой какого-либо отдельного национального образования. Независимое от фонетической оболочки, изначальное слово доступно для каждого. Им владеет всякий: и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Здесь языкового барьера не существует для тех, кто смог овладеть этим незвучащим изначальным Словом. Я говорю о языке человеческой души, который для всех одинаков. На этом языке каждая из живших на Земле душ выражала те чувства своего сердца, которые могут быть названы добрыми.

Изначальное незвучащее Слово, Неслышимый Язык, является первичной духовной основой всех на свете прекрасных книг, всех стихов. А прекрасное не может быть злым, оно выражается только на языке добра. И художественное сочинение — метафизически — появляется вначале на этом языке, а потом как бы формируется на тот или иной национальный язык. Этот процесс происходит в душевной тишине, в глубине и тайне каждой творческой личности.

У каждой такой личности — как и у любого человека на свете — есть в его душевных качествах то, что содержит все главные выразительные признаки национального характера. Разумеется, каждый китаец несет в себе довольно много китайского, каждый еврей — еврейского, во всяком русском достаточно вовек неистребимых русских черт. Кроме характерных национальных признаков, у каждого человека имеются еще и социальные черты и метины, присущие общему психосознанию данного исторического и политического момента. Помимо всего перечисленного, личность может

принадлежать и к какой-нибудь политической партии, например, к коммунистам, или к религиозной общине, скажем, к Свидетелям Иеговы — тогда непременно прибавятся к этнопсихологическим свойствам натуры еще и признаки партийного ригоризма, и налет сектантского эзотеризма.

Но у любого русского, еврея, корейца или у коммуниста, свидетеля Иеговы — у каждого из нас, кем бы мы ни были, есть в физическом теле и в невидимой душе что-то такое, чего нет ни у кого другого на всем белом свете. Нигде, ни в ком, никогда не повторяющееся нечто. Существующее во веки веков только раз, один-единственный раз — в каждом из нас содержащееся, вместе с каждым из нас и уходящее из этого мира.

Всего один раз... В единственном экземпляре...

Вот это единственное и неповторимое, содержащееся в каждом из живущих на Земле, является причиной и предметом печали — главной печали бытия для всякого человеческого существования. Наверное, когда Бог замыслил сотворение человека, сей печальный компонент уже присутствовал с самого начала — называется это абсолютной уникальностью человеческой личности, которая никогда не повторяется.

Что это? Благо или проклятие? Может быть, когда в Библии говорится о том, что Господь создал человека по образу Своему и подобию, имелась в виду эта мучительно осознаваемая уникальность, это абсолютное одиночество, которое властвует над судьбою человека с того дня, когда он вкусил от плодов древа познания добра и зла?

Эта экзистенциальная отчаянная печаль и является тем источником, тем незвучащим Словом для всей человеческой цивилизации, который понятен каждому. И я овладел этим Словом прежде, чем впитал в себя русское художественное слово.

Русский ли язык или любой другой — для меня он прежде всего был необходим как способ перевода на него с языка изначального.

Тон моих произведений окрашен печалью вселенского одиночества. И это не потому, что я отщепенец мира сего, а потому, что каждый из людей есть вселенский отщепенец. И я пишу об этом — это и есть, видимо, моя судьба. Если у меня спрашивают, о чем мои книги, я честно отвечаю, что в них главным содержанием является все то, что происходит во мне и только во мне — и больше никогда ни в ком и нигде не повторится. И я ловлю вопрошающие взгляды моих собеседников: а кому будет интересно все то, что происходит с тобой и только с тобой? Ну кто ты такой и что в тебе такого уж интересного и поучительного?

Ничего во мне особенно такого уж интересного и поучительного нет. Ни о чем таком я не написал в своих книгах, чего бы мой читатель сам не

знал и не видел. Просто в самом начале своего литературного пути я сделал следующее открытие: ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСЕН. Он несет в себе тайну своего сотворения. В нем содержится и тайна его уникальных переживаний. Далеко не все в них подчинено ментальному стереотипу — есть море жизненных ощущений и переживаний, которые становятся известными только данному человеческому субъекту, который приходит и уходит всего один раз. Я открыл, что следить за уникальными, единственными в своем роде переживаниями, впечатлениями, мимолетными реакциями и фиксациями душевных уколов человека захватывающе интересно. Как и всякий художник, я стал сочинять, придерживаясь правдоподобия, использовал поэтическое воображение, но только сочинительство мое активнее всего действовало в пределах воображаемых переживаний моих персонажей. Я сочинял для них ярчайшие впечатления, невольно делая своих героев приверженцами эстетической школы импрессионизма.

Я старался угадывать и в литературной форме запечатлевать все то, что приходит вместе с отдельным человеком, вместе с ним и уходит — и никогда больше не повторится. Я хотел разгадать закон неповторимости.

Моей целью стало выражение уникального, а не отражение типического. Все мои герои похожи только на самих себя и никоим образом не приближаются к «собрательным образам» или «типическим персонажам в типической обстановке». И я могу наконец обрести окончательное самоопределение. Я писатель человеческой уникальности. В эстетике меня влечет не яркий символ вечного, а трепетный нюанс мимолетного.

Ибо я нашел, что национальность у человечества одна, и она называется — человек. И я стал его национальным писателем. Моим письменным и звучащим языком стал русский, на нем осуществлены все оригиналы моих книг. Моим дописьменным незвучающим языком стал всеобщий язык человеческого сердца, известный и понятный каждому, кто когда-нибудь появлялся жить на этом свете. И этот каждый, брат мой и товарищ по мгновению существования, читает мои книги на нашем общем родном языке.

Путешествия

Эта правдивая повесть о моей писательской судьбе будет неполной, если я не расскажу о своих путешествиях по стране и по миру.

По натуре я не путешественник, а домосед, для которого спокойное и подробное созерцание малой родины милее экзотических впечатлений далеких путешествий. Однако я был рожден, очевидно, скитаться по земле и должен был повидать многие края нашей большой страны, а также разные континенты и страны. Я всюду побывал в бывшем СССР: от Камчатки до Белоруссии, от Мурманска до Киргизии, в Сибири и Средней Азии, в Крыму и на Кавказе.

В зарубежных поездках повидал я Америку и Японию, был во многих странах Европы, съездил в далекое Марокко на севере Африки.

Я особенно ценил в этих поездках совершенно свободное от программы и протокола время, когда мне выпадала счастливая возможность одному бродить по незнакомым местам, улицам и площадям городов, где никогда раньше не ступала моя нога — да и не только моя, но и всех моих предков. Особенное чувство, густое и хмельное, охватывало мою душу, когда я не спеша прогуливался по родине, где еще ни разу не приходилось мне бывать. Ибо откровение, великое, волнительное, было в том, что вся планета есть моя родина, что всюду я иду по родной земле, где бы я ни оказывался: в Европе ли, в Африке или в Японии...

Впервые это чувство, что я у себя дома, находясь Бог весть в какой дали от отмеченной в паспорте родины, — чувство всемирности, планетарного космополитизма, обдающее сердце жаром безнадежной любви ко всему человеческому миру, ко всем джунглям, сахарам и европам, охватило меня в Финляндии, на том безвестном мосту в Хельсинки, через который я перешел и углубился в незнакомый город. Я переходил через мост с тяжестью величайшей печали, навалившейся мне на сердце, ибо я-то этот мир узнал, почувствовал и полюбил, но он-то меня и знать не хотел. Встречная финская девушка, белокурая, голубоглазая, в пестрой вязаной шапочке-колпаке, даже и глазом не повела в мою сторону, проходя мимо, и это было не наигранным чувством полного безразличия с ее стороны.

Был серый вечер, смеркающийся, весенний, с черными корявыми силуэтами дубов бульвара, вставшего на моем пути. Шли навстречу еще какие-то финны, они также миновали меня, как и блондинка на мосту, и воистину им никакого дела не было до того, что я в их туманной стране

узрел еще один лик нашей общей родины, а в них вдруг ощутил свою тягучую тоску по какому-то искрящемуся и многоцветному, как радуга, счастью, которого нет и не может быть среди угрюмых финских лесов и болот...

А в каком-то городе, ближе к Полярному кругу, меня встретил один писатель из местного Союза финских писателей, парень этак лет тридцати пяти на вид, жилистый, веснушчатый, с невыразительным мужицким лицом. Был ли он молчалив или разговорчив, я не знаю, потому что мы с ним совсем не разговаривали — ни он по-русски, ни я по-фински не понимали. Но вместе ходили и ездили по разным местам, обедали, пили пиво, и мне было легко и приятно с ним... Так вот, слияние моей души с его медлительной северной душой было настолько убедительным, что я совершенно не запомнил себя в той нашей встрече. Я эту встречу увидел его глазами и запомнил его памятью.

О, как скучно ему было утром с похмельюги подниматься и переться в отель, чтобы взять меня, российского гостя, на машине в далекий лесной дом знаменитого финского художника-отшельника. Но когда мы приехали к этому дому, вернее, подъехали к незаметному съезду с асфальтированной дороги на узкий лесной проселок, там оставили машину и долго шли лесом, затем через дикое поле и наконец подошли к великолепному новому бревенчатому дворцу, который был, оказывается, возведен на месте старой хижины, где жил и творил когда-то художник — в моем веснушчатом бесцветном спутнике произошли разительные перемены.

Я почти перестал узнавать его! Вернее, я уже не видел его — я ощущал и видел себя в этом человеке. Наши чувства слились, а сердца застучали в едином ритме от волнения, восторга, зависти и внезапно навалившейся пронзительной тоски. Ибо мой вожатый, финский писатель из провинциального городка, и я, приехавший из России писатель, вдруг в одно и то же время сильно разволновались по одной и той же причине. Быстро переглянувшись, мы понимающе и сочувственно улыбнулись друг другу.

Мне стало ясно там, что величайшее счастье человека-художника заключается в том, чтобы жить и работать в лесу, в таком великолепном большом и красивом дворце со всеми удобствами, с отлакированным белым полом... И чтобы можно было такой дом построить на те деньги, которые удастся заработать своими руками, — кистью ли, карандашом или пером... Но я понимаю, как для меня это труднодостижимо, если я всего лишь провинциальный писатель местного значения и живу на стипендию, которую назначил мне Союз финских писателей нашего территориального

округа. Скорее всего мне никогда не построить подобного дома и не жить в лесу в таком комфортабельном отшельничестве. И я переглядываюсь с этим симпатичным гостем из России, с Анатолием Кимом, и вижу в его глазах, что и он не прочь бы занять такой дом в лесу.

Любил я ходить один по чужой стране, свободно шагать куда глаза глядят, раздвигая таинственные завесы незнакомого мира. И что же? В причудливой череде самых неожиданных картин, ландшафтов и жанровых сцен не было ничего, ничего такого, что не отзывалось бы родством и знакомством в ответном чувстве моего сердца.

Я однажды целый месяц разъезжал по Западной Германии, следуя из одного университета в другой с лекциями на тему: «Особенности моего литературного творчества». Сколько же раз я встречался тогда с самим собой, причудливым образом запрятанным в немцах — вмонтированным, так сказать, в самых разных представителей этой расы. И то, что я по истинному своему рождению кореец, ничуть не мешало тому, что моя душевная суть самым замечательным образом проявлялась в каком-нибудь пруссаке, который горд тем, что ни разу в жизни не нарушил общепринятых правил и законов, честно держал данное слово и на все сто процентов выполнял свои обещания.

Я ехал на теплоходике по Рейну, забрался на верхнюю палубу, сел за столик и заказал себе «цвай вюрстен унд айн бир». Был замечательный летний голубой день на реке, по скалистым берегам которой величаво высились средневековые замки, и я чувствовал себя совершенно удовлетворенным жизнью, и самим собой, и своими замечательными человеческими качествами. Тем более что мог непосредственно обозреть это за соседним столиком — в виде лысоватого, рыжеватого немецкого дядьки лет сорока. Он был одет в светлый бежевый костюм, при галстукке, который уютно лежал на его белой рубашке, в точности повторяя конфигурацию небольшого бургерского живота.

Я пил немецкое пиво, закусывал горячими сосисками, сочными, также вполне немецкими, и чувствовал себя благонадежным, неплохо устроившимся в жизни немцем, который заслужил все то, что он сейчас имеет: фатер Рейн, пиво, сосиски, замечательное чувство собственного достоинства и довольства, застывшее благодушной маской на моем гладком, бритом лице.

Подобную свою маску я видел много раз и в других странах, где мне приходилось бывать, и всюду ловил себя на том, что «выдаю», оказывается, заведомо фальшивое выражение на этой маске! Не могло быть такого, чтобы то самое малое, единственное, первое человеческое Я выражало на

физиономии своей сияющее самодовольство, потому что это первое Я всегда подспудно помнило о своей смерти и постоянно, до обморока, боялось внезапной потери имущества, или роковой болезни, или попросту одинокого голодного существования в старости.

Значит, сияющее самодовольство, спокойное и уверенное веселие, бестрепетный оптимизм, выражаемый масками узнаваемых мною моих двойников в разных странах, исходили не от первого человеческого Я, а от второго. Маска благополучия и беспечного самодовольства, словно ты никогда не умрешь, присуща, таким образом, нашему второму Я, тому самому, которое ищет Бога, видит себя только рядом с Ним и в оценках собственного своего существования на Земле исходит из чувства вечности, а не смертности, из ощущения полного вселенского благополучия, а не ожидания всемирной катастрофы.

Но мои глубокие симпатии принадлежат первому моему сиротливому чувству Я. В королевстве Марокко как-то среди дня я наконец-то остался один.

Воспользовавшись этим, я вышел из гостиницы и не спеша отправился на прогулку, прошел сначала к реке, спустился к набережной мимо высокой красной стены, окружавшей помпезные здания королевского дворцового ансамбля. У входа на территорию дворца высились на верховых верблюдах нарядные кавалеристы охраны — черноусые красавцы в чалмах, с громадными саблями на бедре. Нет, эти парни из королевской стражи не показались мне моими двойниками, и я никак не мог представить себя на месте кого-нибудь из них, сидящим верхом на дромадере. Так же не мог представить, что марокканскому стражнику из верблюжьей кавалерии дано осознать себя Анатолием Кимом, русским писателем корейского происхождения.

Но когда я обогнул угол дворцовой стены и направился вдоль нее, то на совершенно пустынной набережной увидел сидящую на земле женщину. Она замерла с протянутой рукой, склонив ничем не покрытую растрепанную голову, а рядом с нею, чуть позади, лежал на каменной мостовой совершенно голый младенец. Он покоился на боку, протянув по земле свою тощую ручонку, голова его была наполовину укрыта платком, видимо, материнским. Нет, ребенок не был мертв, он спал или находился в знойном забытии на этом беспощадном африканском пекле, точно так же угнетенный им, как и я, бредущий по раскаленному бетону набережной иностранец. И этот ребенок был мною. Он первым догадался об этом, и, когда я проходил совсем близко, младенец приоткрыл глаза и очень внимательно, со значением, посмотрел из-под платка на меня.

Ах, Боже мой, сколько же было этих открытий, когда в какой-нибудь новой стране я снова и снова обнаруживал самого себя в ее жителях! И речь сейчас идет не о том, как я сошел с ума, находя свою душу в других людях, — нет, я говорю о том, что в моей душе помещается множество других душ.

Если бы я чувствовал в себе только одну мучительную душу свою, свое первое Я, суетное, несправедливое и грешное, тогда я действительно был бы сумасшедшим. Ведь любая форма душевной болезни имеет причиной только одно: полную сосредоточенность на себе одном, невозможность сойти с одного и того же замкнутого круга... Но именно в далеких путешествиях я научился избавляться от этой своей стихийной склонности к солипсизму и, наблюдая совершенно незнакомые народы, наконец-то постиг, что на свете существует огромное число людей, совсем таких, как я, и разница наших тел, лиц, национальностей и степени приобщенности к современной цивилизации ничего не значат.

Поначалу я так увлекся этим открытием, был столь вдохновлен обнаруженным в моей малой единичной сущности качеством всемирности, что не заметил одной большой опасности... Пусть будет так: одна звезда — это все звезды, один человек — это все люди, но что же делать, если подобное понимание мира вдруг в какой-то момент откроет тебе всю бессмысленность, смехотворность и ничтожность твоих личных устремлений? Лишит всякого смысла существование твоего первого, маленького Я?

Это было в Америке, в штате Нью-Мексико, в городе Санта-Фе. Там я побывал в доме американского скульптора-авангардиста и доме одного русского живописца, Фешина, выстроенном им в глуши американского Техаса...

По архитектуре это были очень похожие сооружения в стиле старинных мексикано-индейских построек: за глухой глиняной стеной глинобитная коробка дома с плоской крышей, с выступающими из торцовых стен могучими деревянными балками, с узкими и высокими, как бойницы, окнами. Но какая разница была в том, что было внутри этих художественных убежищ, разница не только в начинке вещами, но и в планировке.

Американец, скульптор современного направления, названия которого я не знаю, творил свои произведения из списанных и рассекреченных деталей ракетного оборудования, которыми пользовались в недалеком от Санта-Фе космическом центре. Из всяких колес, сверкающих сфер, колпаков и могучих металлических штанг скульптор собирал что-то вроде

тех фигурок, которыми увлекаются дети, любящие всякие игрушечные наборы типа «Конструктор». Американец лепил из бросовых деталей белого металла что-то такое, напоминающее роботов, допотопных чудовищ, но давал им всякие интересные символические названия, скажем, «Экстаз» или «Взгляд в ничто».

Фешин был русским эмигрантом, я никак не мог предположить, что он окажется в Америке, под Санта-Фе... Это был один из самых любимых мною русских художников, со студенческих лет я больше всего ценил живопись Константина Коровина и угольные рисунки Фешина. И вот встреча в его доме, штат Нью-Мексико... Маленькая, кругленькая, уютная русская барыня, престарелая дочь художника Ия... Фешин занимался, кроме живописи, еще и резьбой по дереву: двери и настенные панели, мебель, большие шкафы и сундуки были им украшены собственноручно. Было много русских фольклорных мотивов в его деревянных композициях. На стенах дома висели чудесные, роскошные по живописи фешинские шедевры...

У американца дом также находился в лесу, но в таком, какой бывает только в Техасе, зоне гористых полупустынь, — редкие отдельно стоящие деревья, то ли раскидистые сосны, то ли темно-зеленые кущи туй небольших размеров. Эти деревья не желали сливаться в единый массив, и леса как такового вокруг не было — лишь независимые друг от друга зеленые деревца, заполнявшие собой все размашистые склоны окрестных гор. И среди этих деревьев находился дом скульптора. Внутри это был современный дворец, на трех или даже четырех уровнях, отделанный с немыслимой роскошью, с мраморными колоннами, широкими серебристыми лестницами... И жил в этом дворце хозяин-скульптор, который рассказывал, что за каждое свое произведение, за очередного робота или громадного динозавра, слепленного газосваркой из труб, колес, шестеренок и ракетных охвостий, он получает от ста тысяч до миллиона долларов.

Я вспоминаю бронзоволицых индейцев, что продавали изделия из бирюзы там, на улицах Санта-Фе, и о том, как в одном из них я снова увидел самого себя. Он сидел на обтянутой кожей скамейке, накрывшись широкополой шляпой, и дремал, закрыв свои старые, окруженные сетью морщин глаза...

И художник Фешин, построивший в Нью-Мексико индейский дом с русской начинкой, был во мне — со всей своей судьбой русского эмигранта первой волны, который и в далекой Америке не пропал — Бог дал раскрыться его искусству... И когда-то — не знаю даты смерти — я умер в

Фешине, вместе с ним, тоскуя по зеленым просторам родной приволжской равнины.

И богатый американский авангардист, широкоплечий малый с окладистой седой бородой, также был во мне, и я в нем — в его неистовом устремлении к успеху, к большим деньгам, которые и позволили человеку построить такую чудовищную домину в пустынной долине штата Нью-Мексико...

Мне вспоминается профессор славистики из Нью-Йорка, с которым по моей просьбе мы прокатились в подземке, и в том, как, смущенно улыбаясь, профессор признавался, что никогда не ездит в метро, потому что боится темнокожих бандитов, для которых подземка — место работы, — я узнал самого себя... В Японии другой профессор-русист, усатый, черный, густобровый, словно какой-нибудь азербайджанец, с грустным видом говорил мне, что современный японский интеллигент получает образование, затем старательно трудится всю жизнь, словно муравей, только с одной целью: заработать достаточно денег на место в богадельне, в каком-нибудь приличном пансионате для стариков.

На Гавайских островах, в Гонолулу, я шел от своего отеля к морю и впереди увидел голого по пояс стройного парня в джинсах, босого, с кудрявыми, длинно отросшими волосами. Он вдруг остановился возле мусорной урны, опустил на колени и запустил туда руки. Выудив из урны банку из-под кока-колы, помотал ею, прислушиваясь, не осталось ли чего там внутри, потом запрокинул голову и выпил остатки...

Это был также я. И его превосходительство господин президент Португалии, и сказочного роста, стройная, как бригантина, пышноволосяя дочь самого богатого человека Америки, за банкетный стол которой я был приглашен и сидел напротив хозяйки, между двумя лауреатами Нобелевской премии — Бродским и Милошем... И когда на парижском бульваре у «Мулен Руж» я жестами и мимикой, словно глухонемой, пытался побеседовать с проституткой, которая оказалась гомосексуалистом, одетым в женское платье, — во всех случаях, не вступая ни в какие разговоры, лишь обменявшись взглядами или улыбками, я в других, совершенно неизвестных мне и космически удаленных по земному бытию людях почему-то уверенно угадывал самого себя.

Каждый человек — это все люди. У каждого есть две судьбы. Одна та, что принадлежит его малому Я и заключается в даты рождения-смерти. Другая связана с судьбой человеческого рода и потому содержит в себе все отпущенное человеческой истории время.

Также исподволь мне стало понятным, что после открытия

двузначности жизни и судьбы человеку больше незачем устремляться на другой край Земли, чтобы удостовериться в том. Но для того, чтобы прийти к этому, мне обязательно надо было сначала пройти земные пути.

И когда стало ясно, что уже нет у меня мучительного любопытства к людям иных культур, стран, наций и рас, религиозных убеждений, цивилизаций, когда во всех встречах на путях земных я узнавал себя, а каждого ощутил в себе, то уже не захотелось мне больше разъезжать по миру.

Мне вспомнились слова, приписываемые древнему китайскому мудрецу, которые звучат примерно так: «Век живи в своей деревне, слушай крик петухов из соседней деревни — и никогда не ходи туда в гости». И мне действительно хочется забраться куда-нибудь в деревню и жить так, как советовал древний китаец. Может, я постарел, поэтому не привлекают меня экзотика, развлечения, роскошь и удовольствия мира, а может быть, удовлетворив свое самое сильное, мучительное, страстное любопытство в том, что такое я и что такое остальные люди, я успокоился и больше не желаю суетливо перемещаться по миру. Мне хорошо сейчас там, где я нахожусь, и мне дорог покой, которого я достиг.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)